

Повесть четвёртая

САРА ХРИСТОФОРОВНА И ДРУГИЕ

1

В конце первого курса, где-нибудь в середине мая, наверное, ещё до сессии мы с Джуркой и Минибаем оказались возле Дома печати. Шли куда-то не очень спешно, но и не слишком медленно. И тут из подъезда, смеясь и что-то договаривая, но в приподнятом настроении, выходят Толя Пудоль, наш патрон, вместе с главным что ни на есть редактором “Засменки”. С этой живой легендой, с поэтом, на слова которого про рябинушку пела песни не только столица Урала, мы были совершенно не знакомы. Но виноваты, что поделаешь! Память о славе и бесславии Джуркиного сочинительства витала и над этой легендой — ведь он получил за него какой-то и где-то выговор.

Несколько метров, которые нас отделяли друг от друга, стали для всех нас, а особенно для Джурки, не коротким, а длиннющим, хоть и молчаливым замыканием.

Наконец, Михмих — сокращенно от Михаил Михайлович, и так его звал весь город, причастный к печатному слову, — широко улыбнулся и воскликнул, протягивая руку Джурке:

— А вот и злодей!

И сам же расхохотался. Скок силился что-то сказать в оправдание, но Михмих не позволил.

— Всё, всё, — сказал он, — что прошло, то проехало! Ну, и чего же больше не заходите?

Теперь он вопросительно глядел и на нас с Минибаем, будто мы какие-нибудь вместе с Джуркой Кукрыниксы, например, и друг от друга неотделимы. Пудоль вышел из-за спины шефа и, торжественно указывая на меня, объявил, что я систематически освещаю фотографическое творчество на страницах столичного журнала, а Минибай силён в экономических темах, на что Михмих восклицал:

— О! О!

Потом он весело заговорил как бы ни о чём, вот какое дарование у человека! Какая, мол, погода, оглянитесь, какое небо! Как оживают улицы весной!

— Поглядите, мальчишки, на девочек. Они же на глазах становятся наряднее! Зимой кутаются в платки, а сейчас и шеи, и плечи свободны, природа побеждает и жизнь хорошеет!

Вздыхнул как-то обречённо и устало проговорил:

— Уж вы-то, надеюсь, живёте полной жизнью!

Вот так или почти так он выразил своё настроение и заторопился:

— Приходите, приходите! Учитесь! Вы нам нужны!

Вот эта последняя фраза легендарного редактора нас крепко приглубила! Мы? Кто мы? Неужели именно мы — Джурка, Минибай и я — им — кому им? всей редакции, что ли? — нужны! Такого ещё никто нам не отвечивал. Будто мы журналисты с именами! Будто мы и в самом деле кто-то такие, а не сопливые первокурсники!

Мы уже не шли, а летели, едва касаясь ногами асфальта, вперёд, в затяжную горку, к скверу, где высился каменный председатель ВЦИК, а напротив зеленело здание чудесного театра оперы и балета! Бова зазывал нас поучаствовать там в мимансе! Нас! Людей, которых сам Михмих только что объявил нужными “Засменке”!

На скамейках в скверике у театра мы ещё долго охорашивались, как потрепанные воробьи. Приводили в порядок свои растопыренные пёрышки, укладывали их в порядок.

— Выходит, — проговорил, улыбаясь, Джурка, — я реабилитирован!

— Бери тон пониже! — усмехнулся Минибай. — Прощён.

— А может, — предположил я, — тогда и ничего особенного-то не было? Ну, какая-нибудь неточность! Но за что же в морду-то!

2

Несмотря на нашу, а выходит, и мою нужность газете, я никак не мог туда явиться. Мои школьные слабости совершенно не желали отцепиться от меня, будто репейник. Речь идёт о французском, моей ахиллесовой пяте.

Ахиллесова пята, кто не знает, это такое слабое место у даже сильного человека. А у нашего брата, студента тех пор, этих ахиллесовых пяток наблюдалось великое множество. Лично у меня, к примеру, и старославянский язык, как помните, и вот этот французский, а потом нежданно явится политэкономия социализма. Так что почти всякий из нас, кроме, разумеется, зубрил-отличников, ходил на этакую сороконожку, хромающую на половину своих лапок, где на каждой своя ахиллесова пята.

И здесь я поведу речь о скрытом противоречии своей тогдашней судьбы.

Историко-филологическая принадлежность отделения журналистики на Урале не только угнетала. Но и возвышала! Кроме языков, нам читали историю! Курсы литературы, да какой! Античной! Русской классической! Советской многонациональной! И зарубежной! И в этой зарубежной меня лично заклинило на французской. Ромен Роллан, Стендаль, Бальзак! Мы глотали их романищи и не могли насытиться плодами трудов этих богов! А если уж наша щенячья стайка физически топталась на одних половицах, то и классику мы читали или одновременно, если в читалке было несколько экземпляров нужной романи, или передавая книгу из рук в руки и впадая в восторг, если не одновременно, то с небольшим разрывом.

Мы и имена друг другу из классики присваивали. Сами себе. Или нарекали сомневающих. Я, например, был Люсьен Шардон де Рюампре, что, конечно, ничего не сообщит не читавшим Оноре де, так что вкратце замечу, что это был персонаж по-французски вспльчивый, конечно же, добродетельный, не лишенный риска, но в то же время и оглядчивый, таким образом, разумный.

В те времена знаки гороскопа не пользовались никакой популярностью, более того, может, даже были запрещены как мистика и суеверие, совершенно не нужные строителям грядущего общества. Но когда времена сменились, и я прочитал, какими чертами обладает “дева”, то есть я сам, мне просто жарко стало. Да это же вылитый Люсьен де Рюампре!

Минибая почему-то назначили Жюльеном Сорелем из Стендаля, Джурку — Жаком из Романа Роллана, наверное, потому что он на аккордеоне играл. Ну, хотя бы! За отсутствием рояля!

Мы балдели от этой зарубежки! Учились изъясняться романическим стилем, строить фразы по обычаям этих чудесных героев, соединяя это, конечно, с окружающим миром.

— Месье Жюльен, — обращался я к Минибая, например, возле тёти Дусиной кассы, — не желаете ли вы откушать жульен из дичи под названием холодец с хреном!

Не ахти какой юморок, но он проходил запросто, вызывая наш узкодружеский хохот. Не изучавшие зарубежную литературу, например, психологи, не ценили нашего немотивированного ржания и не знали, к какой области психологии отнести эти дурацкие выкрутасы. А оттого слегка завидовали и злились.

Но! Обожая Бальзака, Стендаля, Роллана и сотни иных бессмертных французской литературы, я совершенно не ладил с французским языком. И некому меня было надоумить, вот что! Нашёлся бы ещё один мудрый Зиновий Абрамович или тот же искусствознавец наш Бова, сказал бы, мол, парень, нравится тебе Бальзак, так прибавь к нему ещё знание языка, на котором он писал! Это тебе может пригодиться! А вдруг поедешь собкором “Правды” в Париж, будешь там щеголять по Елисейским полям и клеймить современную французскую буржуазию!

Однако напоmung иным и сам попробую понять то наше время.

Одна тысяча девятьсот пятьдесят третий, потом четвёртый, затем пятый... Посоветовать студенту поскорей учить иностранный язык было не таким-то безгрешным делом. Могли не понять. Могли сказать, для этого есть институт иностранных языков, а не отделение журналистики, где вообще-то надо уделять повышенное внимание другим, вполне политическим дисциплинам. Мне самому не довелось испытать на себе, что такое оглядка, опаска, подозрительность, но в ком-то и, пожалуй, в наших преподавателях особенно она была зарыта. И не так уж глубоко.

Конечно, просто сказать, слегка подтолкнуть — этого маловато. Требовались и другие доверенные взрослые, чтобы, коли надобно, могли и внушить: учи язык! Но их не было! А собственная память совсем недавнего детства, совнавшего с войной, велела другое: да пошли к чёрту все эти немцы с их немецким языком. Да и французы. Англичанцы и прочие шведы! Мы сами — русские! Увы, не был модным в ту пору иностранный язык любого народа. В юридический так вообще принимали без экзаменов по языку.

Что-то и ещё останавливало нас. Но обожать Бальзака не мешало ничто.

А Сара Христофоровна меня просто-таки страшила. И вовсе не личностью своей. А если можно так выразиться, предметом, который преподавала и за незнание которого спрашивала.

Французский язык учило на всём-то курсе человек семь или восемь, причём с нашего отделения только двое: я да ещё Тамарка Горохова. Маленькая и рыжеватая, с носиком-кнопкой, она походила на пупсика, да ещё из местных. Местными мы называли тех, кто жил в городе капитально, с родителями и появлялся только на лекции, тотчас растворяясь потом в городских квартирах. Лезли в трамваи, в троллейбусы и исчезали, а наша-то, настоящая студенческая действительность только просыпалась.

Если же вернуться к французскому, остальные в нашей группе вообще все были девчонками: в деканате так сводили расписания, что на малопосещаемые предметы сходились студенты одного курса, но разных специальностей. И психологи тоже сидели на французском, и даже пара историков. Но все — девицы.

То ли этому полу проще даются языки, то ли я совсем уж отстал в сём изысканном предмете ещё со школы, но чувствовал я себя у Сары Христофоровны полным изгоем. Девицы свободно осваивали склонения и спряжения, я глупо мусолил словарь — тогда ещё не было коротких и ярких разговорников, которые бы хоть как-нибудь реабилитировали меня.

Сара Христофоровна, конечно, помнила меня по вступительным. И всю аргументацию в моё оправдание знала. Больше того, ведь я её должен был почитать как свою благодетельницу. Не поставь она мне хотя бы ту несчастную тройку, где бы я обретался?

И ещё Сара Христофоровна как-то по-особенному смотрела на меня. Сначала я думал, что она присматривается ко мне, потому что я самый непросвещённый. Потом — потому, что я единственный парень, и во всём, что не касалось французского, человек как человек: довольно весёлый и вполне настырный. Пару раз я попробовал завести на её занятиях разговор о французской литературе, но пороха не хватило по двум причинам — большинство девчонок были чистые филологини, у них зарубежную литературу осваивали уж никак не слабей нас, и если бы я ещё повёл свою речь по-французски, а так...

И всё же Сара Христофоровна имела обо мне какое-то особенное мнение. Почти сразу после поступления настала пора сдавать так называемые “знаки”, внеаудиторное чтение. Приходить с книгой на французском языке, сначала вслух читать несколько страниц, а потом тут же и переводить. Обычно принимала нас лаборант иноязычной кафедры Лидия Петровна, но время от времени и сама Сара Христофоровна. Удивительное дело, она никогда не говорила со мной ни о чём, кроме французского. Я снова пожаловался ей, что в нашей школе, не самой дурной в городе, почему-то менялось за год по пять, самое малое, французов и француженок, хотя с немками и англичанками существовал полный порядок. И вот мне, выбравшему язык Бальзака и Стендаля, теперь приходится платить за свою любовь, ёлки-палки. Она никак не реагировала. Не кивала и не сочувствовала. Просто смотрела на меня.

Я даже не смогу объяснить, сколько ей лет тогда было? Слегка за сорок? Под пятьдесят? А может, гораздо больше? Её тяжелила полнота, и круглое лицо вполне могло бы выражать полное благодушие, если бы не какая-то незримая заслонка. Что-то не позволяло ей проявить ко мне интерес, выходящий за пределы обучения французскому. Как оказалось, бессмысленное.

Однажды, ещё на первом курсе, она назвала мне книгу “Мари Роз” — о французском сопротивлении. И подсказала, что по этой книге, напечатанной на родном наречии, можно, оказывается, сдавать внеаудиторку, а поможет та же книга, переведённая на русский и тоже присутствующая в нашей библиотеке. О Боже! Да это оказалось спасением. Я заглядывал после лекций к Лидии Петровне — лаборанту по французскому — или подходил

к Саре Христофоровне и вежливо спрашивал, могу ли, скажем, через тридцать минут зайти для сдачи знаков. Чаще всего они соглашались, а я бежал в читалку, хватал “Мари Роз” по-русски и по-французски, и наглед, бывало, до того, что не глядя в иноязычный текст — или глядя на него вкривь и вкось — фотографически запоминал русский перевод. Сейчас бы ни за что такое не получилось. А тогда — как по маслу!

Потом я заходил к Саре или, лучше, Лидии, раскрывал во французской книге нужные страницы, кое-как прочитывал их вслух, абзац-другой, а потом начинал шарить русский перевод.

Но и преподавательница моя круглолицая, и её ассистентка не зря сами же выдумали сей приём. Особенно Сара Христофоровна бывала прекрасна! Она о чём-то глубоко задумывалась, иногда поправляла, ничем не выдавая своих чувств, спрашивала, сколько там я начитал и напереводил и, сдержанно вздохнув, оставляла свою подпись в специальной тетрадке. И вот таким же образом, и тоже вздохнув, в конце всякого семестра она ставила мне четвёрки по французскому. Девчонки вокруг меня всегда и все получали пятёрки, а я — свои проходные баллы для стипендии и всегда мысленно благодарил Сару Христофоровну, пытаясь заглянуть в её коричневые, как спелые вишни, глаза.

Она уворачивалась, лишних слов мне не позволяла. А проговорила только два раза. Первый раз — в конце второго курса. Вписывая в зачётку третью четвёрку, она сказала мне:

— Хорошо, что любите Бальзака!

Я кивнул, не придав этому значения. Второй раз, в таком же положении, на зимней сессии, она подбодрила меня:

— Вы хорошо прошли практику! Вас хвалят!

Но я и тут ничто ещё толком не сообразил. Только потом, когда курса после третьего закончились языки, я сообразил, что Сара Христофоровна просто давала мне жить. Всего-то навсего! Увидела, что французский, если мне приспичит, я наживу. А потому не надо мне мешать. Жизнь велика, и она добавит. Если надо. Ну, и если не надо — тоже.

Увы, милая Сара Христофоровна, французский я так и не нажил. Сожалению.

4

Второй курс мы приняли по-взрослому. Даже следующей, третий, не показался ступенькой высокой, а вот второй — оказался.

Из новинок — со второго курса начиналась артиллерия. Тогда в институтах и университетах существовали кафедры военной подготовки. Да ещё какие! Нашу, например, возглавлял генерал и настоящий фронтовик! Ну, а готовили всех нас, мальчишек, в артиллерию. И вот тут уж нашей кафедре, а за ней — всей армии и всей, конечно, стране — было наплевать, какую мы себе присмотрели грядущую штатскую профессию — математиков, геологов, биологов или — славате-навоте! — журналистов.

Почему я так выразился? Да потому что все мы, поступившие на свою специальность, и отроду-то не были склонны к точным наукам. В алгебре, геометрии и тригонометрии, — а эти науки проходили во всякой средней школе, — мы были слабаки! Только вздохнули, что от них избавились! И вдруг!

Первые же занятия — таблицы, расчёты, баллистика, дальность! И приборы, которыми надо овладеть! Я совсем духом пал — как это всё можно понять и выучить? Да ещё и командир нашего потока, рыжий, весёлый, явный хохол майор Слинько после вводной горячей речи, где артиллерия называлась богом войны и даже цитировалась песня “Артиллеристы, Сталин дал приказ!”, на второй половине военной пары вывел нас из-за столов, построил во дворе и повёл к дощатому сараю, серому от долгих своих годин и внешних ненастий.

Мы стояли, не зная к чему эти торжества, а майор ковырялся в заржавленном замке. Потом командир наш велел желающим распахнуть двери, передовики, которые всегда находятся в таких положениях, исполнили своё

дело, и мы увидели в сарайной мгле огромного размера орудие, мрачно взрывающееся на нас. А было нас человек сорок, которых соскреблили со всех факультетов и представили этой осмысленной груде металла.

— Ну вот, — обратился к нам неунывающий майор. — Штатная команда стададцатидвухмиллиметровой гаубицы образца тысяча девятьсот тридцать восьмого года — семь человек.

По строю прокатился нервный шумок.

— Есть? — спросил Слинько. — Семь будущих отважных офицеров? — Он ехидно усмехнулся. — Которые не в будущем, а сейчас! Выкатят это орудие из хранилища!

— Есть! — раздались бодрые вскрики.

— Нет! — состязаясь с ними, провизжало большинство.

— И есть, и нет! — ухмыльнулся майор. — Ничего! Это всегда так!

И не унывая, стал растёгивать офицерский ремень на гимнастёрке:

— Тогда давайте всей деревней!

Он и впредь будет понимать, этот чудесный майор Слинько, с кем имеет дело. Предположим, знал он и самое главное: никаких артиллеристов из нас не получится. Так и вышло! Но тогда мы бодро поскидывали пиджачки и куртки, и все вместе облепили гаубицу образца тридцать восьмого года. Почти все до единого мы были чуточку постарше этого образца, потому, наверно, полагали, что выкатить-то эту железяку сможем без всяких-яких.

Майор расцепил замок, указал, как надо поднять станины одним, в то время как иные сдвинут колёса, а третьи выкатят чудище, упираясь в замок, щит и во всё, во что только можно упереться.

О, эта была чудесная сцена! Славный наш командир упёрся в огромное колесо, велел приготовиться и на счёт “три!” всем вместе двинуть гаубицу вперёд. Однако на счёт “три” ничего не произошло.

Да нет, произошло! Кто-то громко, от всей души пукнул. Да так, будто это, по крайней мере, охотничье ружьё жажнуло. Муравьи, вцепившиеся в железо, повалились наземь и побежали в стороны! Хорошо хоть ни одной девчачьей души рядом не оказалось: артиллерия — дело мужское.

Под хохот и матерки мы гаубицу всё же выкатили. И хотя майор был строг и пару раз повышал голос, показывая, как поднимается и опускается ствол, движется по горизонтали, как открывается затвор, и прочие чудеса действующего воинского образца, до которого мы, интеллигенты, так и не дорастём, всем становилось очевидно, что свидание с воинским долгом пока что не удалось.

Но могла ли эта милая и вовсе не старая гаубица ответить нам тем же? Это ещё предстояло узнать.

5

В один банальный день, по обычаю отсидев лекции, мы с радостной душой и пустыми желудками привычно кинулись в столовку.

Ещё на подходе стакнулись с Яшкой-моряком и Игорьком Коробкиным — вид у обоих был более чем удручённый.

— Там сидит какая-то новая, — невнятно растолковывал Игорёк.

— Тётю Дусю уволили, — развёл руками Яков.

— Ка-ак уволили? — выдохнул я.

— А денег нет, — продолжал описывать своё положение бывалый Игорь. — И жрать нечего!

Мы кинулись в столовку, а там к кассе, и действительно — вокруг желанного гнезда тёти Дуси вилась густая очередь и чужая женщина неумело тыкала в кнопки кассового аппарата, неумело принимала деньги и ещё неумелее отдавала сдачу. Вывернув все карманы, мы кое-что схавали, не забыв наших ветеранов, и решительно отправились к столовским властям узнавать, что случилось.

Но двери были закрыты, буфет пуст, а поварахи смутно пояснили, что вроде у тёти Дуси недостача, где-то её допрашивают, что-то считают, а дирекция столовки находится там же, где и она, а вот где — неизвестно.

— Может, в милиции?

И Яков с Игорем, перебивая друг друга, предлагали идти вверх.

— Это куда? — спрашивал Джурка.

— В райком, — твёрдо рубил ладонью Яков.

— В горком! — не соглашался с ним Игорь.

В обеденный зал испуганно заглядывал народ, питавшийся у тёти Дуси в долг, кто-то что-то перекусывал, и постепенно возле нашего стола собрался кружок, обсуждающий, чего делать. Хочу жестоко заметить, что в осадок выпали сущие единицы — человек семь-восемь: наш пятерик, потом присел Вовка Потников, ещё двое, может быть, и всё. Хотя сочувствовали и даже присаживались многие-многие. Тут же, однако, у всех находились важные дела и заботы, которые невозможно отложить. Даже из-за кормилицы тёти Дуси. Сперва я взирал на эти отступления совершенно равнодушно, потом что-то заколыхалось внутри. Фраза сформулировалась невзначай:

— Выходит, мы от неё отступимся?

— Пошли на кафедру, — поднял нас Джурка. — Хотя бы расскажем! Там могут и не знать!

— Там могут и не знать ни про какую тётю Дусю! — хмуро заметил морской волк.

И он оказался почти прав. На кафедре было человека четыре из взрослых, включая добрую к нам Алевтину Сергеевну, кафедральную лаборантку, была такая должность, но как только мы изложили вопрос, пара преподавателей предпочли заторопиться из кабинета, а Алевтина пояснила, что ведь столовая эта не имеет к кафедре ровно никакого отношения. Надо идти к проректору по АХЧ, что означало административно-хозяйственную часть, а его поймать нелегко.

Двое-то наших учителей вышли, подальше, может быть, от практики партийно-советской печати — так называлась эта кафедра, — но в кабинет вошёл всегда строгий и всегда бодрый заведующий кафедрой, хотя даже и не кандидат наук, Борис Самуилович. Он ещё на первом курсе читал целый курс о журналистике военных лет, и его любимой темой был разговор об очерке Петра Лидова “Таня”, напечатанный в газете “Правда”. А это, кто не знает, первая статья о Зое Космодемьянской, девушке-партизанке, повешенной немцами под Москвой. Да и сам Борис Самуилович был фронтовиком — капитаном, артиллеристом, — носил наградную колодку на груди, и вообще, партийно-советская печать в практике своих дел должна была говорить правду, отличаясь от буржуазной, днём и ночью добиваться справедливости, и на этот счёт существовало в лекциях и семинарах, окружавших нас, множество примеров.

Был Борис Самуилович всегда опрятно одет, при галстукке и свежей рубашке, и круглое его лицо, всегда открыто обращённое к нашему брату-студенту, было доброжелательным и светлым. Ни от каких вопросов он не уклонялся, говорил дружески, терпеливо объясняя самые разные вещи, а как офицер-фронтовик в лекциях о военной журналистике являл собой абсолютного советского патриота.

Он вступил в кабинет, увидел нас, улыбнулся, попросил пересказать тётю Дусино исчезновение, понял суть беспокойства, посерьёзней и решительней пошёл к телефону.

Дозвонился он тотчас, разговаривал приглушённым голосом, но отвечали ему, похоже, строго и даже убедительно, и междометия, произносимые Борисом Самуиловичем, стали наполняться сперва невёрдостью, потом неуверенностью, наконец, он воскликнул: “Студенты просят! Студенты заступаются!” — но на том конце провода это, вероятно, не принималось как серьёзный аргумент, и заведующий кафедрой, наш любимец, телефонную трубку как-то так очень аккуратно положил на место.

Может, так и кладут свои шпаги рыцари, проигравшие поединок?

— Да! — сказал он, поднимаясь и по-офицерски честно глядя нам в глаза. — Столовую эту обвиняют в обвесах и обмерах, а кассиршу — в пособничестве этому!

Ни фигя себе! Такое слово — пособничество — встречалось в газете “Правда”, когда обвинялись в неверности соратники югославского руководителя Иосипа Броз Тито или когда судили врачей, кого-то и как-то отравивших. Но тётю Дусю! Нашу тётю Дусю!

Дверь, между тем, открылась, и на кафедру вошла Люсетта, та самая, с которой я когда-то ходил в санпропускник. Я не поминал её с тех пор, но на самом деле, как только видел её, всегда улыбался. И даже был готов расхохотаться снова, вспомнив, как я ввалился в бабью баню.

Она вошла, как светоносный ангел, и произнесла всего две, но восхитительные фразы.

— Народ внизу собирает деньги, чтобы заплатить долг тётю Дуси! И ещё! Она — участница войны, фронтовичка и награждена орденом Красной Звезды!

Мы разом повернулись к Борису Самуиловичу. Может быть, мы вернулись к его офицерскому прошлому, совсем ведь ещё недавнему! Он понял без лишних слов.

— Вперёд! — сказал он, даже почти приказал. — Такой человек не мог красть у бедных студентов.

— Богатых студентов не бывает! — пошутил Миннибай.

— Да мы за неё на плаху пойдём! — высокопарно воскликнул Скок.

— На плаху, пожалуй, излишне! — Борис Самуилович был снова на своём иронично-интеллигентном коне. — Но вот написать письмо в райком комсомола да сходить на приём к первому секретарю я вам очень советую. Тем более, что там этим секретарём наш аспирант-историк, — да вы его, на-верняка, и видели, — Серафим Юрьевич Маментьев!

Он по-дружески улыбнулся нам и спросил:

— Почему бы студентам не защитить женщину-фронтовика! Которая, к тому же, кормит бедных студентов! В долг! За собственные же деньги, на-верняка. А за какие ещё-то?

В райком мы припёрлись под закат, с письмом в руках и с уверенностью, что никого не застанем.

Не правда ли, есть в этом какое-то таинство, неведомо откуда идущее? Ты на что-то надеешься и не можешь этого добиться, несмотря на всю подлинность твоих аргументов. И наоборот. Ты ни на что не надеешься, а всё совершается идеальным образом.

Райкомовское здание оказалось невысоким, двухэтажным, вход со двора, уже темно, но все окна сияют, будто в праздник. Секретарша только спросила, откуда мы, и повторила слова наши по внутренней связи. А дальше всё совершилось, как в волшебном сне. Дверь распахнулась, и я увидел в проёме действительно знакомое лицо — русые волосы, зачёсанные назад, интеллигентские очки без оправы и широкое, открытое лицо. У людей с такими лицами не бывает задних мыслей!

Мы вошли, сели за длинный стол и, протянув письмо, стали наперебой рассказывать первому секретарю, что думаем о тётю Дусе.

Серафим Юрьевич молчал, слушал, а когда мы сказали, что кассир тётю Дуся фронтовичка, да ещё Люсетта вытащила из кармана почтовый конверт, в котором лежал студенческий выкуп, включающий мелочь, которая тут же и покатила по столу, “звеня и подпрыгивая” (деепричастный оборот!), вскочил, молча отмерил несколько шагов. И повторил слова Бориса Самуиловича:

— Такой человек не может красть у студентов!

— Да она нас спасает! — воскликнула Люсетта.

Оказалось, последний аргумент, произнесённый женским голосом, очень часто играет решающую роль.

— Погодите минуту! — сказал Серафим, взял телефонную трубку и сказал: — Фёдор Тимофеевич, вот у меня студенты из университета! Принесли письмо в защиту фронтовички! Вы не раз говорили, что хотите с нынешним молодняком потолковать! Ага! Жду!

И через две минуты к нам спустился седой, очень взрослый, но и удивительно весёлый человек с широкой колодкой награды на пиджаке. Мы уже догадались — секретарь райкома партии, ведь этот райком был выше комсомольского только на этаж.

Письмо про тётю Дусю он тут же прочитал, деньги отодвинул Люсете, сказал, что мы молодцы, не поленились придти в свой райком, а дальше стал говорить о чём-то постороннем, как нам тогда показалось.

Спрашивал про то, например, где наши отцы? Кто погиб, где, на каких фронтах? Как чувствуют себя живые? Где и кем работают? Сколько, если мы знаем, зарабатывают? Про матерей расспросил, даже про дедушек и бабушек.

Все мы, сидевшие в том кабинете, были интеллигентами начинающими, как скажут потом учёные люди, в первом поколении, и многое нам казалось настоящим открытием. Вовка Потников рассказал про погибшего в блокаду отца, а потом неожиданно восхитился уральскими музеями. Скок, как мне показалось, не к месту помянул первое полное исполнение “Реквиема” Моцарта, но тут секретарь партийного райкома толкнул локтем секретаря комсомольского и, убавив голос, спросил:

— А ты про это слышал?

Тот пожал плечами, шутнул:

— Пока ещё не до “Реквиема”!

— Как знать! — рассмеялся Фёдор Тимофеевич.

И вдруг неожиданно стал серьёзным и спросил:

— А что вы думаете о Сталине?

Напомню, шёл пятьдесят пятый год. И о Сталине мы думали так, как чувствовали тогда почти все. Я, улыбаясь, сказал, что написал вступительное сочинение в университет именно о Сталине и знаю на память много стихов про него.

— Вот как? — не очень-то и удивился этот человек с орденскими колодками шириной в ладонь. И тяжело вздохнул.

— Вы ведь воевали? — спросил я неожиданно для себя.

— Ещё как! — ответил он.

— И шли в бой за Родину, за Сталина? — спросил я.

— В том-то и дело, что шёл. И других посылал.

Дядька этот, Фёдор Тимофеевич, не просто надолго запомнился мне, а как-то даже засел в моём подсознании. Я видел его ещё только раз, издавка, и не знаю, как сложилась судьба этого фронтовика с широкой орденской колодкой на груди. И детали всякие осыпались в памяти, как осыпается штукатурка со старой, да ещё отсыревшей стены. Но вот внимательный взгляд, искреннее желание понять другое племя, совсем ещё сопляков, пришедших за маленькой, но правдой, какое-то малообъяснимое воссоединение твёрдости, доброты и растерянности в его лице и словах не покидало меня, как достоинство, пока ещё не достигнутое мной.

По правде-то, этот благородный силуэт сохранился в моей памяти, пожалуй, из-за краткости общения с ним. Поговори я с ним подольше, а пуще того — поработай под его началом, и всё могло бы рассеяться, возможно, и даже переменить на свою противоположность. Но тем и хороши краткие разговоры со старшими, что у молодых остаётся в сознании именно светлое, а примером-то служит оно, сохраняя и укрепляя веру в старшинство, его мудрость, силу, да и личную славу.

Мы пёрли из райкома пёхом, хотя рядом проносились троллейбусы, и, поражённые своей первой серьёзной удачей, неустанно говорили и про Серафима, и про Фёдора Тимофеевича. И вообще — про всё.

Нет, не зря целая орава восемнадцатилетних мальчишек и одна девица восхищались этим человеком. Нам очень требовался взрослый символ власти, конечно, мужчина, который бы слушал и слышал нас, был доступен и находился поблизости.

Да нам, обыкновенным птенцам, просто требовалась защита большой птицы, настоящего орла, хотя, ясное дело, орёл будет кормить чьим-то мясом только своих собственных орлят, а что с остальной, слабо летающей, стаей?

Зато утро! То утро!

Едва тётя Дуся вошла в университет и уселась в своей кассе, молва о её возвращении мигом облетела аудитории.

Шла лекция, запамятовал, какая, — да разве это имело значение! — как дверь распахнулась, и нарушая все культурные обычаи, в проёме нарисовалась скобоченная фигурка нашей вечной вахтёрши по кличке Старуха Изергиль — никак не меньше! — и старуха, бывшая партизанка, воскликнула:

— Дуся вернулась!

Лекция была повержена! Мы дружно зааплодировали, громче всех, конечно, наша произвольно сплочённая команда, и до перерыва лектору пришлось смириться с гомоном не утихавшей толпы. В перерыв мы покатались к столовке, первой шла Люсетта с почтовым конвертом, зажатым в кулаке.

Но тётя Дуся нас даже разочаровала. Нет, увидев нас, конечно, заулыбалась, однако от какого-то студента, пробывавшего чеки, не отвлеклась, просто помахала нам ладошкой, и уж после того повернулась к нам. Губки её были слегка подкрашены, как всегда, она улыбалась, кутаясь в кофточку, а я-то всё искал взглядом на кофточке орден Красной Звезды. Одеть его было самое время — ведь одержана такая победа!

Мы что-то квакали хором и врозь, Люсетта протягивала конверт, а тётя Дуся махала рукой и восклицала:

— Да вы что! Да ребята!

А потом тарахнула неожиданно:

— Я просто приболела на денёк, да и всё!

— И всё? — поразился Скок.

— Ну, если вы про ревизию, так я ведь каждый день всю выручку сдаю. Согласно кассе. И никаких недостач у меня быть не может.

Мы стояли ошарашенные. А она вздохнула и добавила, чтобы до конца утешить.

— Ну да, я свои каждый раз добавляла. Ведь я одна, тратить не на кого. А вы потом возвращали!

И она засмеялась.

— Ни один из вас меня не подвёл! Ни один!

Труднее всего досталось Люсетте. Пришлось возвращать по принадлежности все эти рубли и трёшки, даже мелочь. Но собирая деньги для тётя Дуся, записей не вела, и эта раздача затянулась.

А в тот раз мы уселись за стол, меню всё то же: щи, котлета, чай, и минут пять, вопреки всем антирелигиозным учениям, повторяли наперебой с разным интонациями: “Слава Богу! Слава Богу!” Потом подумолкли. И тут Вовка Потников проговорил:

— Выходит, мы переусердствовали?

— Ты что-о-о! — округлила глаза Люсетта.

— Нет, нет, — опроверг сомнения Скок. — С какими людьми познакомились!

— Да ведь это ещё и партийно-советская печать в действии, — сострил Минибай.

— Печать-то тут при чём? — не согласился Потников.

— А может, просто, — подумал я вслух, — и надо было, чтобы всё это случилось! И травля, и несогласие, и шум, и разговоры все эти...

— Кому это надо? — удивилась Люсетта.

— А может, и нам самим? — задумался Вовка.

— Бросаться на помощь надо всегда, — сказал Минибай. — Вот нам придётся разбираться в разных склоках, а потом расписывать в газетах, а? Ну, и как это делать, если в жизни заступиться не умеешь!

— Будешь большим начальником! — хихикнул наша единственная дама. — Редактором, секретарём райкома, а то и обкома.

— С какого угару! — фыркнул Минибай. — Нам бы здесь-то разобраться!

Это был маленький такой трёп, наивная и юная болтовня после несложного испытания. И я всё думал о тётя Дусе. Кто же она на самом деле?

Ну, фронтовичка. Но почему всего-то-навсего кассирша в студенческой столовке? И почему кормит нас за свою ведь крохотную же зарплату? Что за службу она себе избрала?

Так и не нашёл я тогда на это ответа. И всё, что происходило в ту пору, находилось ещё очень далеко от благодатных времён. Но совсем близко от времён испытаний — тяжёлой и горькой войны. От которой хотелось убежать как можно дальше. Да поскорей. Поскорей!

Но не всякие побеги совершаются скоро. Порой требуется время, да и немалое, чтобы понять, куда и зачем бежать, с какой целью, да если и бежать, то надо бы всем народом?

8

Рано ли, поздно ли, но я получил место в общежитии на улице героя Октября Щорса. Это было двухэтажное сооружение, склёпанное, наверное, в 30-е годы неведомо под кого. Нам же достались сравнительно большие комнаты, вдоль стен которых стояли железные койки с ватными, образца тех же лет матрасами, а посередине — сравнительно длинный, простой стол, вокруг которого могли сесть сразу все жильцы, и кроватей было семь! Таких комнат, как помню, насчитывалось немало, да между ними ещё несколько — поменьше, а домов с холодными подъездами — штуки три. Топились общежития дровами, и печи имелись в каждой большой комнате, одним боком выходя в соседнее помещение — типовое решение обогрева старых лет. Полубарак, полухибара, вода — только холодная да скворечник во дворе. Девчонок сюда не селили.

Общежитие на Щорса считалось если не местом ссылки, то местом добровольного изгнания, Камчатка в большой стране, и ещё не каждый желал ехать на этот край города даже в целях, важнейших для студентов, — экономии своих жалких средств, ведь филологи, как и всякие там историки и несчастные журналисты, все, кто назывался гуманитариями, получали стипендию самую малую даже в пределах одной альма-матер. Математикам, к примеру, рублей на тридцать давали больше — то ли за особые умственные возможности, на которые рассчитывало в последующем народное хозяйство, то ли понимая саму ценность их предстоящих познаний. Наши познания ценились дешевле.

И меня наша конура на Щорса угнетала, как только могла: то ли дело было в тепле у Анапы, где тесновато, но дружно и удобно, да и гораздо ближе. Но 200 рэ на жильё! Это было тяжело по сравнению с всего-то пятнадцатью рублями здесь.

Жизнь на университетской Камчатке была глухой, безрадостной, особенно холодной зимой и бесконечно грязной весной, да и летом, когда часть пути приходилось одолевать по жидкому месиву. Однако бытие требовало терпения, да и у экономии — свои законы: мама перестала посылать мне 200 рублей за койку у Анапы, но прибавила до 400 расходов на еду. Но ведь ещё и стипендия появилась. Всего 620! Однако и без стипендии я бы уже не пропал. Но моя французская контрреволюция продолжалась.

Однажды после звонка, когда группа французского языка неспешно собирала свои сумочки, а Сара Христофоровна отчего-то задержалась, я с тайным умыслом задал ей совершенно необязательный вопрос — как, мол, она относится к Жану Полю Сартру и его новомодному учению. Спросил очень мягко, голосом не везнающего бойца, а вкрадчиво, как мало чего понимающий и недообразованный интеллигент в первом поколении, разумеется, не владеющий французским языком, но желающий сам докопаться до истины.

Боже! Да Сара Христофоровна просто испугалась. Она сложила ярко накрашенные губки сердечком, широко распахнула вишнёвые глаза и слегка побледнела, впрочем, её лицо всегда было очень бледным, будто чрезмерно напудренным. Зато всегда добрым.

Настала неловкая пауза, и одна из историчек — то ли Марианна, то ли просто Марина, из местных, уходящих после занятий домой, большая, чер-

новолосая, с горбинкой на носу, — ловко оценив положение, спокойно и с достоинством разрядила его.

— Экзистенциализм, — заметила она, — одно из левых, во многом, буржуазных течений. Жан Поль Сартр по-разному оценивается нашим обществоведением.

Она произносила эти слова неторопливо и солидно, вовсе не как смущённая студентка, а хотя бы как младший ассистент исторической кафедры. И Сара Христофоровна ей согласно кивала.

Я же испытывал внятное ощущение, что меня хотят облапошить! И мне это нравилось, представляете! Я, конечно, не понимал толком, что такое экзистенциализм. Но, по крайней мере, читал “Только правду”, а они, похоже, нет. И мне не следовало лезть на рожон! Не требовалось признаваться, что читал Жана Поля Сартра, наверное, симпатичного мужика, проживающего где-то в Париже. Я явно выигрывал, скромно затеяв разговор на сложную тему, при этом прикидываясь простаком. Да так ведь и было. Требовалось сыграть роль в задуманных интересах.

Я выдохнул, будто хоть что-то понял, кивнув, Сара Христофоровна распрямилла ярко-красные губки и довольно улыбунулась, Марианна-Марина залюбилла своей китовой массой меня от французенки, а когда пространство освободилось, я вновь увидел лицо Сары Христофоровны, обращённое ко мне.

Она смотрела внимательно, сосредоточенно и, казалось, снова спрашивала себя обо мне! Кто он? Глупый студентиска, которому она не дала послабления на вступительном, или, может, не дай Бог, какой-нибудь, в лучшем случае, правдоискатель, лезущий в материи, которые не только этому недопёску, но и ей, простой преподавательнице, — но французского же, а, значит, иностранного языка, — не по чину?

Ожидавшее меня далее превзошло все возможные чудеса.

Когда началась сессия и подступил мой несчастный французский, Сара Христофоровна передала через общих соучениц, чтобы я не торопился, пришёл на экзамен последним, далеко не отходил, потому что все её ученицы, а мои соученицы по французскому, ей известны и долго спрашивать она никого не будет. А я — все это хорошо понимали — случай особый. Эти сикилявки, соседки по французскому, оглядывали меня сочувственно, а иные — снисходительно. Мне же не оставалось иного, как крепко сжимать зубы и молить судьбу об удаче — я ведь честно занимался, всюю подтягивал себя и старался изо всех моих нефранцузских сил.

Экзамен пророскочил стремительно. Девчонки заскакивали и выскакивали, тряся зачётками. Вышла Лидия Павловна, лаборантка кафедры иностранных языков, которая иногда принимала внеаудиторное чтение, улыбунулась мне:

— Вы подождите, пока последняя выйдет. Сара Христофоровна хочет с вами побыть наедине.

Вот так да! У меня глаза на лоб полезли. И в то же время я должен был улыбаться. Дурацкий, пожалуй, получался образ.

И вот я зашёл. Сара Христофоровна торопливо поздоровалась, указала на стул перед собой, и я задрезжал: этот стул мог оказаться электрическим. Далее мне полагалось взять билет и, вроде, без подготовки отвечать по нему, как тогда, при вступлении, у историка.

Но Сара Христофоровна не предложила мне повисить балл, даже если я что-то намекаю ей. Она совершила подвиг. Как-то неторопливо, но твёрдо взяла мою зачётку, полистала, открыв её на нужном листке, и обратилась ко мне, глядяваясь своими огромными коричневыми вишнями в мой, явно следнувший, лик:

— Вы сможете...

Она затормозила, подбирая слово, а подобрав, начала снова:

— Вы сумеете не проговориться товарищам? А то... А то будет плохо!

Она улыбулась, но при этом крепко волновалась. И только в следующий миг я понял, на что она решилась. Я кивнул, она взяла ручку и поставила мне “хор”.

Не думаю, что в моих глазах появились слёзы. Они появляются у меня сейчас, когда я об этом рассказываю. Многие десятилетия спустя.

Общάга на Щорса оказалась местом общественно затхлым. Едва мы выключали свет, где-нибудь за полночь, как жизнь в нашей комнатенции ожидала. На стол, покрытый клеёнкой, — особенно зимой, в холода, видно, и им жилось несладко, — вспрыгивали через стул отвратные огромные, с хо-рошую кошку, крысы. И если кто оставлял там корку, начинался визг и делёж, сопровождаемый поначалу и нашим визгом.

Многие жалобы комендантше ничего не меняли — она отнекивалась тем, что сильный крысиный яд опасен для человека, и один случай, правда, в другом общежитии иного института уже произошёл, когда вместо крысы отравился студент, едва откачали. Бороться, в общем, с крысами власть не желала, и мы эмпирически пришли к выводу, что следует относиться к ним если не как к друзьям, то, по крайней мере, снисходительно, как к неизбежности. Во-первых, требовалось предупредить их нападения и крошки, если таковые останутся, сбрасывать в жестяное ведро. Клеёнку на ночь протирать водой с нашатырным спиртом, и в подтверждение истины кто-то из нас этот спирт купил в аптеке — он стоил дешёво.

Однако запах от нашатыря давал о себе крепко знать, и самый нравный из нас, филолог Арнольд Якуповский, устроил поутру вселенскую истерику, что от запаха у него трещит голова, и он вынужден отказаться от посещения лекций по уважительной причине. Тогда придумали иное.

Я уже поминал добрым словом боты “прощай, молодость!”, которые носило большинство из нас. На ботинки натягивали эту суконную, с резиновой подошвой, обувь, и полный порядок. В университетской раздевалке сдаёшь её, как сдавал бы калоши. В общем, кроме этого Арнольда, все пользовались ботами, и, залезая в очередной раз под свои тонкие солдатские одеяльца, которые справедливо можно назвать и студенческими, мы выставили боты, как и ботинки, возле своих коек.

Был назначен вечер, обозванный экспериментальным, мы даже улеглись в одиннадцать, чтобы потом ещё разобрать результат операции, погасили свет, а на стол выложили пару кусков чёрного хлеба, при этом покрыв их для удобства потребителей.

Но не зря говорят, что крысы — самые умные из всех тварей и самые приспособленные к любым испытаниям, например, могут запросто перенести ядерную войну, потому что на них не действует даже радиация. Да ещё и живут до ста лет! А мы по молодости и слабости естественно-биологических знаний всего этого не ведали и избрали способ войны самый что ни на есть пехотный.

Сперва умные крысы объегорили нас тактически. Несмотря на то, что мы погасили свет раньше, взяли в руки по своему боту “прощай, молодость” и напряглись в предвкушении атаки, в комнате стояла тишина. Крысы за-таились.

Один Арнольд Якуповский издевался над всеми остальными, осмеивая наши неумные расчёты. Не затихая, он выдавал свои шутки, порой вполне себе остроумные, но нас это лишь раздражало, и каждый из остальных уж по разу-то крикнул ему, чтоб остряк заткнулся. Наконец, он устал. А крысы не выходили. Стали расслабляться и невидимые во тьме бойцы. Слышались глубокие вздохи. Кто-то предложил плюнуть на всё и засыпать, а то завтра ранний подъём. Начались сдержанные и бестолковые дебаты. Я лежал напротив стола, может, в метре от него.

Тьма стояла полная, но я учуял шуршанье. Сжав бот, до того прижатый к груди, я размахнулся и кинул его, метя в поверхность стола. Послышались сразу — крысиный визг и человеческий вопль. Похоже, одним ботом я зацепил крысу, но оружие, срикошетив, достало и Арнольда, что ли?

Остальные боты бабахали в стол, по столу, по тумбочкам и кроватям. Чтобы узнать результат сражения, кому-то требовалось вскочить и босиком подбежать к общему выключателю. Это действие исполнил Минибай, но каким бы и кто бы ни был сверхрасторопным, эффект оказался нулевым.

Стол пуст, куски хлеба разлетелись, некоторые на пол, всклокоченная братва восседала на койках, а Арнольд даже стоял, покачиваясь на пружинной сетке, как прыгающий на батуте акробат. Он закатывался в хохоте, мы, в общем, тоже не унывали. Хлебные остатки Минибай подмёл, сыпал в железное ведро для мусора, мы угомонились. А часа в четыре проснулись от грохота. Умная крыса, видать, стремилась поживиться, да стенки ведра оказались высоки, и она прыгнула вовнутрь — бывает ли такое? И грохот был совершенно жестяной, а значит, громкий, барабанный, хотя и одноразовый, и мы, матюгаясь, признали, что борьба принесёт успех только следующей зимой при условии, что летом дезинфекционная служба города обрабатывает все наши общаги! “Мечты, мечты, где ваша сладость?..”

А крысы победили нас. Даже когда не оставалось ни крошки на столе, они громко грызли по ночам нижние углы наших тумбочек, дерзко вспрыгивали на стулья и обнюхивали нашу одежку, чтобы отыскать в ней остатки хоть какого заваливающего куска. Но тщетно! Ведь на спинках стульев висели штаны студентов голодного времени!

И мы смирились с крысиной оккупацией. Когда же кто-то включал по необходимости общий свет, хвостатые коллеги без всякого шума и гама несильно исчезали, огорчаясь, похоже, звуком жестяного ведра, отзывающегося оптимистическим звуком на быстротекущую жизнь.

Это, похоже, звучало для них оскорблением.

10

В той комнате на Щорса носом к носу мы не то, чтобы столкнулись, а буквально спихнулись с новым веянием то ли моды, то ли культуры.

Где-то там, в западных столицах некоей державы и на тёплых югах молодые люди вроде нас стали как-то вызывающе одеваться и обуваться, учить танец буги-вуги, жевать жевательную резинку и мечтать про кока-колу. Одним словом, отвязываться! Наш обаятельный завкафедрой партийно-советской журналистики, фронтовой офицер Борис Самуилович привлёк внимание к фельетону Семёна Нариньяни, то ли в “Правде”, то ли в “Известиях”, под названием “Стиляги”, и мы в перерывах образовали очередь к подшивке в читалке.

Из газетного сочинения, конечно, мало что поймёшь предметно, ведь мало узнать про чёрные, например, очки (это как у слепых, что ли?), про гавайские рубахи (что за гавайские?), узкие брючки-дудочки и дерзкую, громкую ненашенскую музыку. Однако всё это образовалось буквально под носом у нас в считанные дни, с наступлением весны и приближением новой сессии.

И исполнил сию неказистую роль Арнольд Якуповский, парень длинный, хотя не скажешь, что нескладный, с железной фиксой во рту, но без всякого хулиганского обаяния, грядущий историк, на год постарше нас, не очень-то замеченный в кропотливых трудах над историческими томами.

На укору в нетрудолюбии он как бы отшучивался, что историю надо творить собственными руками, а всё, что произойдёт, изучают пусть новые, последующие поколения. И ещё он высказывался в том духе, что новым людям подробное знание прошлого может идти во вред, потому что следовать старым примерам, — а это очень часто и происходит, — бывает вредоносно для будущих решительных перемен. Исторические примеры тормозят процесс развития, а не ускоряют.

Никто его речения всерьёз не воспринимал, почти все подхихкивали над творцом истории, отрицавшим её существование, но, что удивительно, экзамены он сдавал свободно и особо преуспевал в иностранном — английском языке. Он даже напевал, бывало, укладываясь, какие-то песенки по-английски, и мы, прислушиваясь к мелодии, находили ту или другую вполне симпатичной, просили Арнольда прибавить звука, и он демонстрировал недурные музыкальные способности, представляя нам неведомую культуру, в которой, конечно же, мы не знали ни бельмеса.

Порой по настроению Арнольд говорил, что обожает американский джаз, называл имена его основоположников — все негритянского происхождения,

а мы знали из слов одного Поля Робсона. И он однажды вынул, к всеобщему удивлению, из тумбочки целую коробку из-под пластинок. Но в коробке были не пластинки, а целый пласт рентгеновских снимков. Смеясь над нами-простофилями, да ещё с факультета журналистики, он показал на поверхности старых рентгенкартинок такие же, как на пластинках, круги. Но проиграть было не на чем, и на вопрос, откуда такие запасы, Арнольд, ничуть не смущаясь, пояснил, что прикупает это на Плотинке, по вечерам, когда менты теряют бдительность. Снимки продаются, обмениваются и даже дарятся, если клиент демонстрирует увлечённость, поучал Арнольд, а на вопрос, кто это делает, пожимал плечами:

— Кто-то! Очень весёлый!

Далее он совсем развязался, не устаивая хотя бы лёгкой опаской своих сокомнатников по общаге. Приносил и уносил целые пачки рентгеновских записей, всё это в чемоданчике, какие были и у нас, а потом в сумке, похожей на полевую, только побольше, почти что портфеле.

Мы присутствовали при сём и оставались лояльны к Якуповскому, который однажды сообщил, что имеет отношение к польской шляхте высоких кровей, отбывавшей ссылку на сибирских просторах ещё во времена восстания 1863 года.

— И вот эту, — он подчеркнул слово “эту”, — историю я знаю весьма хорошо. И на своей шкуре.

А далее, в течение недели, а то и поболее, мы могли наблюдать, как, приклеив в какой-то мастерской к старым лыжным ботинкам желтоватую каучуковую, сантиметра в три толщиной, подошву, добытыми где-то напильниками начал выпиливать рубцы по краям той толстенной светлой подошвы.

Когда мы вечером вернулись из универа в нашу конуру, Арнольд сидел на краю кровати и яростно пилил. Клубилась пыль, которую он как будто радостно глотал, некороткие чёрные волосы его с пробором посередине нависли надо лбом и глазами, а на носу висела потная капля.

Мы принялись комментировать увиденное в довольно шутовском стиле, на что сосед воскликнул:

— Не мешайте жить! У каждого своя история! Мне нужна эта!

И показал нам подошву, уже частично выпиленную, как зубы обычной ручной пилы. Ботинки получались стильные, хотя сверху чёрные, а снизу белые. Вроде как обувной бутерброд. В конце концов, Арнольд предстал перед нами в завершённом виде.

Таким же весенним и светлым вечером он ждал нас во дворе неприветного нашего барака — явно, чтобы погордиться, а может, и представить один из способов утверждения современной истории.

На нём висела цветастая рубаха с широкими рукавами, а брюки-дудочки, наоборот, обтягивали выпуклости не только сзади, но и спереди. На ногах же сияли ботинки с рифлёной подошвой, которая выпирала во все стороны. Ноги смахивали таким манером на лягушачьи лапы.

Мы ахали, обходя его кругами, как невиданную скульптуру в парке, и Миннибай спросил:

— А не надо подошву-то покрасить? В чёрный цвет! Под ботинок!

— Ты что-о-о-о! — взвыл потомок древних шляхтичей. Потом застал: — Ну, я говорю, они не врубаются в новейшую историю!

— Куда собрался-то, стилияга? — не унимался Миннибай.

— Куда-куда! На Плотинку! — и он подошёл к поленице, которая создавалась для новой зимы, и поднял свой портфель, прислонённый к вовсе не исторической реальности.

— Хелло, френды! — проговорил он напыщенно и скрылся по улице Щорса.

Что бы сказал ему, подумалось мне, красный командир? Но Щорс так ничего и не сказал. Ведь история — хоть и красноречивая, но молчаливая вещь. Совершенно притом не предсказуемая.

Арнольд вернулся за полночь, когда все остальные в комнате улеглись, но ещё не спали, травил сто раз слышанные анекдоты, лениво, в полудрёме похохатывая. Дверь распахнулась, вспыхнул свет, и мы увидели Арнольда

трясущимся, в рваной рубаше на голом теле и с пустыми руками. Что случилось — об этом не стоило спрашивать. Он и так без конца повторял:

— Проклятые комсомольцы! Проклятые комсомольцы!

— А ты чо, не комсомолец? — насмешливо спросил Минибай.

Арнольд ответил убито:

— А куда денешься?

И как был, в рваной своей одежде рухнул в кровать, успев лишь сбросить свои драгоценные стилияжки лапти.

II

И ещё одна картинка тех времён — начала июня пятьдесят пятого года.

Французский позади, готовились по зарубежке, предстояло много и быстро начитать, я взял в общежитие Томаса Манна, кого-то ещё, не упомню, и “Седьмой крест” Анны Зегерс. Этот роман стоял в билетах отдельным вопросом.

Ребята засобирались в университет, а я заявил, что хочу почитать здесь, но в комнате было влажно, неприветливо, и я залез на поленицу дров во дворе, благо, что она сложена была широко, и, расстелив одеяло под спину, раскрыл книгу.

Сияло солнце, я скинул майку и штаны, никто меня не стеснял, никто не заглядывал наверх поленицы, и вдруг мне стало так хорошо, так сладостно жить!

Сара Христофоровна сняла с меня камень, и я задумался о себе. Мне подумалось, что хочу скорее закончить учёбу, уехать на работу, писать, дежурить в газете, печататься, хоть многого ещё не хватало, да и не бросишь же учёнюе, едва отбарабанив два курса. Я положил “Седьмой крест” на лицо, чтобы не слепило солнце. Спать не хотелось, но и не хотелось ни о чём думать. А у меня всё-таки мелькнуло: что бы я отдал за то, чтобы всё это разом, вот сию минуту кончилось? И сразу началось бы моё взрослое продолжение?

Каким оно будет? Чего мне хочется? Я этого ничегошеньки не знал. Но очень, очень, очень хотел перебежать это поле поскорей! Чему-то бы выучиться! К кому-то прийти! Очень по-взрослому я понимал, что в этом будущем, которое в конце поля, меня не ждут радости и сладости. Но там ждали меня опыты с самим собой и над самим собой.

И ещё лёжа под книжкой по имени “Седьмой крест”, крышечкой на лице, я представлял: вот придёт ко мне в этом грядущем времени полная и совершенная свобода! Должна придти! Мне не нужно будет беспокоиться об экзаменах, о деньгах на еду, об обязанностях перед другими! И вот в один такой миг абсолютной свободы я лягу точно так же, как сейчас, на поленицу, и на мне не будет лежать “Седьмой крест” или иная какая нужная книга, а я просто стану глядеть в глубокое, бездонное, счастливое небо и постараюсь продлить это бесконечное счастье до невысказанного предела!

Мне так хотелось свободно жить!

“Седьмой крест” был про немцев, приход фашизма и предательство немцами друг друга, когда любовь и родство даже превратились в прах. Роман потряс меня отчаянной безысходностью, о чём я поведал строгому профессору по фамилии Канторович едва ли не со слезами. Он растроганно вглядывался в моё лицо, отыскивая на нём что-то мне неясное, вздохнув, поставил пятерик, и безмятежный, счастливый, обнадёженный, я засобирался к родителям, чтобы, почитав власть, повалившись на стёганом одеяле под вишнями, позагорав со здешними друзьями на неказистом пляже, вернуться назад в великий град, по-прежнему тяжело дышащий, гулко ухающий, громко звенящий.

Наступала вторая половина пятьдесят пятого и надвигался пятьдесят шестой год.

МЫ СРЕДИ ДРУГИХ

1

Сдал я на стипендку и следующую сессию, снова уехал домой на зимнюю побывку, в каникулы, ясное дело, щеголял по морозцу и в день возвращения вспыхнул, как огонь. Мама, прибежавшая с работы, поставила градусник, вызвала врача, а та — “скорую помощь” с носилками. И вот два амбала тащат меня по дворику на носилках, а я и смеюсь, и сержусь, и говорю маме с недоумением:

— Ну, неужели я сам не дойду?

В городской больничке меня с носилок переставили под душ, не очень, к тому же, горячий, а когда я запротивился, две тётки громким криком разъяснили, это не душ, а дезобработка, и по стране ещё гуляет тиф!

Вот тут мне стало плохо, но уже не на носилках, а пёхом меня провели в палату, полную народу, положили под тоненькое одеяльце, и я выпал в осадок. Потерял сознание. Вернула меня к нему врачиха с ваткой, намоченной нашатырным спиртом, а послушав стетоскопом грудь и спину, надолго исчезла.

Где-то во врачебном закулисье она утвердила мой диагноз — двустороннее крупозное воспаление лёгких, меня опять уложили на носилки и отнесли на рентген, где я стоял, прижатый холодными пластинами, едва удерживаясь от странной морской качки.

Дело было молодое, но в тяжёлом варианте, мама прибежала подкормить меня чем-нибудь домашним, захватывая свой госпитальный халат как медработник соседнего учреждения. Она подключила каких-то медицинских начальников. В общем, меня кололи и в задницу, и в руку, а температура всё не падала, и я время от времени оказывался в неестественном сне, лучше сказать, в забытии.

Несложно понять, что всё происходящее меня не трогало, было до фени, вроде как и вовсе уже не существовало. Я и себя-то представлял с трудом... Да и был ли я на этом свете?

Похоже, пенициллин, излечивающий пневмонию, пребывал тогда в состоянии ещё редкостном, и в коридорах, озвученные громкими голосами глуховатых, что ли, медсестёр, я слышал более чем откровенные оценки своего состояния.

— А где я тебе возьму! — кричала одна.

— Распоряжение главврача! — убеждала её другая.

— Ну, и неси сама! На складе-то нет!

И всё-таки эти медсёстры, похожие на белые тени, вступая в палату, торжественно, как какой-то приз, несли прямо перед собой шприцы на вытянутых руках, иглой вверх, и спасительно втыкали их в меня при молчаливом моём непротивлении. Вот когда я научился терпеть! Из таких болезней в те времена выбирались не просто долго. А мама, как выяснилось позже, выпросила у начмеда своего госпиталя несколько упаковок ценного препарата.

Я провёл в больнице два полных месяца и совершенно отстал от действительности. Зато приехал сразу в другое общежитие, на Чапаева, опять героя революции, как третьекурсник, то есть студия, переваливший через экватор.

Но встречен был сдержанным малословием.

2

Что такое? Мои братишки-болтуны Минибай, Вовка Потников с пачкой открыток, где было собрано всё великое искусство мира, Яшка, Игорёк Коробкин, Генка Шидрин — все говорили со мной вяло, сначала задумываясь про что-то, хотя историю моего отсутствия приняли сочувственно, но недо-

верчиво, с трудом принимая на веру, что можно провести в койке целых два месяца.

Я даже малость притих, удивившись: что за недоверие? Может, я на курорте каком расслаблялся? Я ведь и больничный привёз!

В тот же вечер Минибай позвал меня посетить титанную — комнату, где вечно грелся огромный электрический бак и всегда можно было нацедить чайник кипятка для любого из жильцов четырёхэтажного, вполне пристойного, общежития. И поведал мне про события, которые пролетели над мной.

В титанной было сумеречно — горела лишь лампочка в коридоре, — влажно и тепло, и Минибай как комсорг рассказал, что в начале марта в самом большом зале собрали по спискам всех партийных и комсомольцев. При входе стояли непонятные мужики и выпускали по комсомольским билетам.

Потом вышел ректор и объявил, что будет зачитано закрытое письмо партии, но обсуждения не предполагается. Просто надо выслушать и принять к сведению.

— Читали, — повествовал он, — почти два часа в полной тишине, ни один стул не скрипнул. Потом все встали и молча вышли. Когда выходили, — отметил он, — все прятали глаза. Никто ни на кого не смотрел.

И дальше он стал сумбурно — не путаться было невозможно! — рассказывать, что говорилось в этом письме про Сталина, которое читает сейчас в закрытом порядке вся страна.

— А где же все они, суки, были? — негромко спросил я, подразумевая тех, кто послание сочинял. — Не верю я им!

Минибай откликнулся, подумав:

— Только не брякни это где-нибудь! В том-то и дело, что продолжение следует. Слушай дальше.

Наутро комсоргов курсов и факультетов собрали на отдельное собрание и велели всякую студенческую болтовню и дурь гасить на корню. И тогда комсорги двух-трёх старших курсов, да чуть ли не хором, заявили, что хотят снять с себя полномочия, потому как народ бурлит, недоумеает и требует сходимки. Там был почти весь партком, и тогда решили провести большое собрание, выпустить пар, но, как сказал какой-то взрослый умник, “в управляемом режиме”.

И вот произошло это собрание. Комсомольский комитет попробовал о чём-то там отчитываться, но выскочил Черкинов с четвёртого курса и взбаламутил всё море. А потом его дружок Карпевич. Наконец, наш Джурка.

Всё во мне начинало раскачиваться: тоже хотелось вскочить и крикнуть что-то несогласное, но я, во-первых, опоздал, а во-вторых, пока ещё и не знал, что крикнуть-то.

Минибай будто чуял мою внутреннюю температуру.

— Они примерно то и кричали, что ты думаешь! Не верим! Почему нас тогда обманывали остальные? Кто управляет нашей страной? Почему Молотов, Ворошилов и кое-кто ещё, известные соратники Сталина, молчат? Где они? Почему их не слышно?!

— А Джурка? — спросил я.

— А он кричал, что не хочет жить по-старому, хочет по-новому! Что надо больше свободы молодым! Что в комсомоле царствуют тихони, и он не похож на комсомол, который делал революцию. Начальники оторвались от молодёжи, не дают ей развернуться, проявить инициативу.

— Во даёт! — пожимал я плечами. — И как это всё понять? Чего вдруг сорвался?

— Да в том-то и дело, — негромко увещевал Минибай, — наоравшись, он ушёл с собрания. Говорят, напился у себя на квартире, и Виннер — он же с ним! — говорит, что ждёт, когда арестуют.

— Ну да! — восхитился я. — А за что?

— За болтовню! — ответил Минибай и, взяв с меня слово не проболтаться, проговорил: — Меня уже вызывали кое-куда и сказали, что речь идёт об исключении.

— Откуда?

— Из комсомола. А значит, и из университета.

В титанную заскакивал народ, девчонки с чайниками ойкали, завидев в полутьме две наши полусогбенные тяготами фигуры.

— Что касается комсомола, то я с ним согласен! — произнёс я.

— И я тоже, — ответил Минибай. — Но что надо делать-то? Ты знаешь?

— Нет! Но где-то люди восстанавливают Сталинград, Белоруссию, Украину, — ответил я, — надо набраться терпения, закончить, тогда, глядишь, и нас куда-нибудь отправят.

Минибай кивнул:

— Я думаю, — ответил он, — Джурке так и надо объяснять своё поведение, когда начнётся разборка. И ещё. Ему придётся извиниться. Публично. На собрании.

— Он не станет! — почти уверенно сказал я.

— Тогда и его тут не станет.

3

Ученье казалось мученьем. Спокойных лекций не осталось. То кто-то, подняв руку, просился выйти. То, наоборот, зайти. Минибая вызывали, Джурка рисовал в тетрадке чёртиков и чертенок, которые владели им, жил притаившись, будто успокаивался. А может, наоборот, раздувая в себе жар.

Увидев меня после болезни, не обрадовался мне, только констатировал:

— Пропустил, счастливец!

Выходило, я умышленно выскочил то ли из-под троллейбусной шины, то ли из-под колеса истории.

— И чо ты раньше всё помалкивал, — спросил я в ответ. — А тут взбеленился?

Пошутил вдобавок:

— Может, у тебя есть план реорганизации рабкринна?

Это, кто не ведаёт, рабоче-крестьянская инспекция, на такие темы спорили при Ленине, и мы конспектировали те давние споры для экзаменов.

Он смотрел сквозь меня и кивал головой, будто что-то кому-то возражал. Ясное дело, не мне.

Ну, а уже исключённых из комсомола Олега Черкинова и Славку Карпевича публика жалела по-другому. Они не ходили на лекции, хотя никто их пока из университета не исключал, толкались в коридоре и почти никогда не были одиноки. Тут всегда вертелись жалостливые девчонки, тётя Дуся, как скоро стало известно, кормила их по кредитному листу, время от времени возле них стояли Борис Самуилович, как всегда с орденом на лацкане, или Зиновий Абрамович — они, в основном, убеждали протестантов идти в аудитории и продолжать учёбу.

Но нет! Протестанты упирались спинами в стены, или сидели на широких подоконниках в торцах коридоров, или дымили сигаретами в туалетном аванзале, где люди могут мыть руки ледяной водой сразу из десяти кранов.

Водили они хороводы и в общаге, случилось, на лестничных площадках, и тогда являлась комендантша, шептавшая:

— Ребята! Совесть имейте! Ступайте в комнаты и там трепитесь!

Чего-то она опасалась. А в комнатах и без всяких указаний шёл трёп. Кому это понадобилось, говорила одна сторона дискусантов. Ленина он продолжил, троцкизм разрушил, индустриализацию завершил, войну выиграл с небывалым успехом, поразив мир, даже восстановление почти что завершил!

Другая сторона вскипала, что хоть Ленина он славословил, зато Крупскую, оказываясь, отшивал, всю Красную армию обезглавил перед самой войной, с Гитлером пакт заключил, ленинские кадры рассовал по разным лагерям, культ свой вознёс до небес, что же касаето троцкизма, то здесь ещё не всё понятно — шла борьба за власть, вот и всё!

Черкинов рассказывал, что его отца, секретаря райкома с Алтая, улекли в Магадан по 58-й статье, и он, его сын, до сих пор не знает, жив ли батя. Да и студентом он стал потому, что мать разошлась с отцом ещё до

войны, и Черкинову дали её фамилию, к тому же они уехали в Казахстан, отцовские знакомства вроде оборвались, а в Казахстане он заслужил золотую медаль к аттестату. Ничего не попробовав лично, Черкинов откуда-то знал тучу историй про НКВД, ночные аресты, расправы судейских троек, рвы с расстрелянными, которые не могли быть врагами народа, потому что это и был сам народ.

Карпевич жил на частной квартире, и тот же Черкинов без конца цитировал его рассказы, слышанные по какому-то иностранному радио. Вслед за Карпевичем он вопрошал: почему всё это не говорят у нас? А раз не говорят, значит, скрывают!

Мы сиживали, как какие-то, может быть, цапли, на кроватях, по трое-четверо, даже жались друг к другу, зато хозяин койки мог возлежать, вещая, и, грубо говоря, хлопала ушами, хотя цапли не имеют видимых ушей.

Черкинов порой блистал, выдавал почти афоризмы. И хотя потом они оказывались общеизвестными прописями, произнесёнными для многих сразу, отзывались в наших сердцах чистым, хотя и не во всём признаваемым сочувствием.

Например, он не говорил, а возжигался такими посылками:

— Правда не может быть неправдой. Она может быть неудобной, но от этого она не становится неправдой!

Или что-то вроде такого:

— Завтра — что это такое? Будущее или будет, или его не будет!

Ещё излагал идею отсутствующего тут Карпевича:

— Москва не знает, что происходит на Урале! Нас исключили из комсомола! За что? За то, что мы поддерживаем закрытое письмо? Концы с концами неходятся!

Из девчачьих комнат с нами почти всегда — или очень часто! — сидела Нинка Тимохина. Была она опрятная, чистенькая, круглолицая, неулыбчивая и оттого, похоже, носила на себе ношу, для девчонки вроде непосильную. Тимохина была секретарём комсомольской организации всего отделения журналистики. Не то, чтобы мы её побаивались, но её плакатный положительный образ требовал почтения, что ли, уважения неизвестно за что, частичной робости и почти полного нежелания с ней долгого общения.

Говорили так: “Привет! — Привет!”, “Здравствуй! — До свиданья!” Да и всё! Это бедняге Минibaю приходилось с ней беседовать, сдавая ведомости и членские взносы за весь курс, а остальным такое сближение не требовалось.

Но вот, сидя на чьей-то мальчишечьей койке и, помнится, отдельно, а не плечом к плечу с нашим братом, она вдруг явила неожиданную отвагу.

— Парни! — проговорила она. — Мы все запутались! И в спорах про Сталина можем потерять наших товарищей. А пусть Черкинов и Карпевич поедут в Москву. И расскажут всю правду о сложившейся обстановке.

Потом конкретизировала дело:

— Давайте скинемся им на дорогу!

Не то, чтобы стон, но глубокий выдох прокатился по комнате. Не такие уж были мы недоумки, плохо оценивающие окружающую действительность. И несложно было сообразить, что это — форма протеста. Против чего или кого, пока непонятно, но уже возникало общее дело. Про общее дело толковали декабристы, Чернышевский. Ну, они противились царизму, а мы кому?

Однако времена переменились! И теперь предлагает собрать деньги не кто-нибудь, а комсомольский секретарь. С плаката сошедшая, умная и отважная девчонка! Как тут увильнёшь?

Сборщиком вызвался стать Борис Рябиков, с которым мы прорывались в учебу. Что ж, это была толковая идея! Тимохина загоралась всё более и более.

— Если чего, — сказала, поднимаясь, — валите на меня! Семь бед — один ответ! И так всех кошек на меня вешают!

Собирали, и собирали быстро. Розовощёкий козлик Рябиков набрал на этом невиданный авторитет: он уже не сучил ножками, не лыбился робкой

улыбочкой, даруемой всем подряд, а стягивал, ммуря их, свои белесые бровки, слегка вниз оттопыривал подбородок и каким-то неясным образом сжимал губки почти в одну плоскость, лишь через раз отвечая на многообразные вопросы.

Естественно, и не раз, и не два Джурке задавался вопрос: а ты с ними не желаешь? Ты же третий! И для нас оставалось великой тайной, что он не просто отмахивался при почти всяких вопросах, но и молчал, как партизан.

Часто удалялся с лекций, и его никто не требовал к ответу. Обедать у тёти Дуси в нашей тёплой компании почти перестал. Некоторые знатоки окружающей среды не раз фиксировали, что он идёт куда-то по улице с Алёнкой Грачёвой — была такая розовощёкая второкурсница-филологичка с русыми косичками, по совместительству дочка профессора Алексея Ивановича Грачёва, профессора кафедры русской литературы. Боба Виннер, наш третий по комнатухе Анапы, мельком сообщил мне, что Джурка стал не всегда ночевать, хотя за жильё платит исправно, но я не обратил на то никакого внимания: мало ли кто и где ночует?

4

Между прочим, на отделении — именно так! — появилось и автономно существовало местечко, к образованию которого моя персона, как постепенно выяснилось, имела прямое отношение. Сначала объявился факультатив под названием “Фоторепортаж”, но главное-то — сделали учебную фотолaborаторию, которую возглавил хитрован по имени Иван Иванович. Он всегда ходил в синем халате; достаточно вместительное помещение, отданное ему, имело четыре отдельные лаборатории, одинаково оснащённые фотоувеличителями для узкой плёнки, красными фонарями, ванночками для печати и проявочными бачками.

Иван Иванович откуда-то знал про моё письмо и обзоры в “Советском фото”, впускал меня для моих фотографических надобностей любовно и безотказно, и я, бывало, часами сидел в этих темницах, то проявляя, то печатая, а потом представляя общественности мои скромные рукоделия.

Такая прелестная предпосылка для последующего тайного события как бы явилась сама собой, когда я, побыв свидетелем и даже соучастником неуспокаивающегося беспокойства, однажды не спросил Минибая, окружающее сообщество и самого себя: “А ведь один я из всех тутошних не слышал закрытого письма!” Можно с ним ознакомиться?

Осторожный Минибай сперва перепугался, потом, поразмыслив, передал мой запрос завкафедрой партийной и советской печати Борису Самуиловичу, и в следующую же переменку тот подошёл ко мне, похвалил мой ответственный интерес к жизни страны и сообщил, что до шести вечера я могу прийти в общий отдел райкома комсомола. Надо только не забыть комсомольский билет.

Робел ли я, отправляясь в райком? И на какого рожна мне это спёрлось? Сказать по совести, я и сам не знал. Но бывают в жизни отдельных людей, в частности, у меня, такие мгновения, когда идея, которую сначала лучше бы обдумать, мысль, а то и простое словцо, вдруг бесконтрольно вырываются помимо всякой осторожности, и далее они вовлекают тебя в какой-то круговорот, требуя продолжения и даже исполнения сказанного. Даже иногда зывают к совести или, простите за высокопарное выражение, к чести.

Однако кто я был такой — уральский студентиска, из себя ничего не представляющий? Начитался стихов, восхваляющих вождя? Но разве поэты не восхваляют каждого правителя, чтобы добиться расположения и, несомненно, преимуществ — с самых древних эпох, а мы уже прошли курс античной литературы!

Ну, и вообще! Если всё, хоть и шатко-валко, но куда-то всё же движется — вперёд, к будущему! — не надо обо всей стране и о народе!

Раз вы не в силах ничего переменить, так плывите по этой широкой и глубокой реке, называемой жизнью! И гребите! Но не к берегу, а вперёд!

Так я осаживал, уговаривал, примирял себя с действительностью, а сам, в совершенном одиночестве, шёл к известному зданию райкома, где мы однажды отбивали от кого-то неведомого нашу верную тёгю Дусю.

И всё возвращался почему-то мыслями к тому пожилому дядьке, Фёдорову Тимофеевичу, который нас спросил:

— А что вы думаете о Сталине?

Почему он тогда спросил об этом нас? Да что мы думали? Великий вождь и учитель — так полагалось откликаться на такие вопросы два года назад. А учитель? Что бы сказал нам о Сталине этот симпатичный человек? Впрочем, он ведь и тогда, спрашивая, не возражал, но и не говорил.

Да и что там, в этом отчего-то закрытом от всех, кроме коммунистов и комсомольцев, письме?

Я отворил дверь в общий отдел райкома, показал комсомольский билет, тётенка неопределённого возраста, но уж далеко не комсомолка, вписала мои данные в бухгалтерскую книгу, велела расписаться, а потом открыла сейф и дала мне тоненькую книжицу в красной корочке, с устрашающим грифом “Секретно”. Предупредила:

— Записи делать нельзя, читать только здесь. — И указала место за ничейным, видать, столиком у окна.

Пришлось читать вскоростную, не то пришлось бы конспектировать, а это запрещалось, но многие имена и факты я узнавал впервые, и это приходилось закладывать в закрома хоть и молодой, но не безграничной памяти, на потом, дальше, спотыкаясь о них в газетах, журналах или простых разговорах, приближать их к себе, вспоминать, где узнал об этом впервые. И не знать, что с этим делать!

Тётенька, управляющая “общим” отделом, не проявляла излишней бдительности, верила мне, рядовому комсомольцу, правда, с именем и номером билета, вписанным в журнал, а потому всё куда-то выходила. Правда, быстро возвращаясь, отрывисто отвечала на телефонные звонки, а я, спотыкаясь, брёл по историческому документу, по лесу, заросшему густым кустарником, приходилось продираться сквозь собственное незнание. Когда дошёл до последней странички, дверь растворилась и в её проёме я увидел того самого Серафима Юрьевича. Имя и отчество, надо заметить, вернула в мою голову здешняя тётенка: по телефону она то и дело поминала его.

Он поглядел на меня, приспустив очки, рассмеялся незлобиво:

— Редко, редко забредаете, товарищи студенты!

А разглядев, чем я занят, прибавил:

— Да и по случаям-то всё чрезвычайным!

Я встал, не зная, что ответить, и вообще, что я должен делать, кроме как улыбаться. Он ещё глянул на стол, увидел, что передо мною последняя страничка, и проговорил:

— О! Ты уже на финише. Ну, загляни, как закончишь! На минуту! Дело есть.

И исчез. Мне бы тут и сдать секретную брошюру, а я, наоборот, впились глазами в последнюю страницу. И глазам своим не поверил.

На столе, за которым сидел, лежало несколько листков бумаги и стоял пластмассовый стаканчик с карандашами. Тётка вышла, и я, подсунув лист под брошюру, принялся лихорадочно списывать самый что ни на есть конец этого секретного сообщения.

Но ведь он как будто бы всё отрицал, этот самый финиш, — вот что я понимал! Всё тут оказывалось наоборот. Я лихорадочно соображал: как это понимать? Почему такое завершение такого тяжкого обвинения? Ведь оно почти всё извиняет.

Я перечитал два длинных, вполне официальных, может быть, даже торжественных абзаца, а тётки всё не было. Что-то случилось, какое-то произошло послабление в системе, может, только моих личных координат. Ученые утверждают, что такое случается.

И я переписал, не лениясь и не страшась, огромную и, как мне показалось, несовпадающую ни с чем цитату:

“Бесспорно, что в прошлом Сталин имел большие заслуги перед партией, рабочим классом и перед международным рабочим движением. Вопрос осложняется тем, что всё то, о чём говорилось выше, было совершено при Сталине, под его руководством, с его согласия. Причём он был убеждён, что это необходимо для защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападков империалистического лагеря. Всё это рассматривалось им с позиций защиты интересов рабочего класса, интересов трудового народа, интересов победы социализма и коммунизма. Нельзя сказать, что это действия самодура. Он считал, что так нужно делать в интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоеваний революции. В этом — истинная трагедия”.

Полная амнистия!

5

Не дрогнув ни одним мускулом, я переписал эту длинную цитату, даже, кажется, неторопливо сложил листок вчетверо и положил его в карман пижамчишки.

Судьба обращалась со мной крайне деликатно: тётенька вернулась точно тогда, когда я перевернул обложку красной книжицы. Посмотрел на неё. Смотреть следовало спокойно, и если не улыбаясь, то крайне доброжелательно. Так учил нас фильм “Подвиг разведчика” и замечательный красавец Кадочников.

— Спасибо, — сказал я, пряча все свои возможные чувства.

— Пожалуйста, Николай Кузнецов! — ответила она, принимая брошюру и совершенно не улыбаясь. И спросила: — А вы не родственник нашего славного уральского разведчика Николая Кузнецова? Смотрели фильм “Это было под Ровно”?

— Кто же не знает Николая Кузнецова? — непритворно вздохнул я. — Но Кузнецовых у нас — каждый десятый. А Николаев — и того больше.

Теперь она приветливо улыбалась мне, отыскивая, вероятно, в моём тощеватом, но молодом образе положительные черты. Потом напомнила:

— Не забудь к Серафиму Юрьевичу. Вы, оказывается, знакомы.

Я пришёл в прихожую, — трудно назвать приёмной узкий коридорчик с узеньким оконцем вдали, — и меня пустили к нему почти сразу. Он сидел в начале длинного стола заседаний, а перед ним лежали две огромные стопки исписанных бумаг.

— Кузнецов, — обратился он ко мне вроде как официально, но тотчас смягчил: — Коля! Вот какое к тебе предложение.

И помолчав, двумя-тремя фразами обрисовал суть разговора.

После смерти Сталина прошла амнистия. Справедливая в большинстве случаев, она выпустила из лагерей множество уголовников. Прошло три года, а положение не улучшается. Банды, хулиганье, в том числе новое, молодое, милиция не успевает их отлавливать. Родилась идея: создать комсомольские оперативные отряды. Выпустить на улицы сотни тысяч студентов, рабочих, всех, кто старше семнадцати лет. Каждый район очищается от бандитов. Оружие одно — красная повязка: “Комсомольский оперотряд”. Каждый отряд включает в себя вооружённого работника милиции. У всех остальных — кулаки!

Хэ-хэ! Мы и сами видели эту шпану, до сенок не доходило, но слухи о драках и поножовщине витали над городом.

— Но что могу я? — возник справедливый вопрос.

— Не один ты, скоро всех вас позовут. Надо, чтобы ребята захотели, понимаешь? Тут есть риск, кто спорит. Но это дело, действие, а не болтовня. Хватит трепаться о свободе! Её надо защищать.

Он снял очки, протёр галстуком; широкий, лобастый, представительный, настоящий мужик, только глаза без очков смотрели как-то по-детски.

— Знаю, Кузнецов Коля, что тебя не было на собрании, болел. Но надо ведь как-то успокаивать народ! К делу надо прибиваться, что бы с нами ни происходило! Родину надо...

Он помолчал, выбирая слово, и прибавил:

— ...сохранять!

Но цитата из красной книжицы жгла мне сердце. Оно ещё и от переписывания-то не угомонилося: билось часто, как заводской молот.

Мне хотелось достать ту бумажку, развернуть её и дать перечитать этому человеку. Но он же, подумал я, и так всё знал, слышал, читал, да и не один раз, наверное. Скажет строго: “А переписывать нельзя!” Может, даже возмутится? Ну, и чего я вообще добыюсь своим удивлением, непониманием даже? Обвинит в наивности?

Я выдохнул воздух, сказал, что лично в оперотряд готов. И что ребятам про этот разговор сообщу. Он кивнул.

А вернувшись в университет, позвал в фотолабораторию небольшую кучку друзей. Что-то подсказывало мне — большую нельзя. После краткого совета с Минибаем было решено пригласить на абсолютно закрытую встречу Зиновия Абрамовича. Хотели Бориса Самуиловича, заведующего кафедрой партийной и советской печати с орденом на груди, но пришли к выводу, что тот при должности и наши вопросы поставят его в неловкое положение.

Всё случилось весьма складно: хитрован Иван Иванович, заведующий, уходя по каким-то делам, а мне оставил ключ от всего своего фотографического пространства. Однако, чтобы посильнее законопатиться от всего и вся, мы с Минибаем, Яшка-моряк, Игорёк Коробкин да Генка Шидрин, ну и, ясное дело, Джурка Скок собрали все стулья в одном из тёмных отсеков для печати и проявки.

На почётном кресле сидел опытный доброжелатель в очках, блистающих красным отсветом лабораторного фонаря, и кто-то из нас, помнится, Минибай, спросил выразительно:

— Объясните нам, пожалуйста! Что случилось в стране? Почему он вдруг стал во всё виноват?

— Вот мясник Микоян, — хрипло вскричал Яков, — на съезде доболтался до того, что ему “Краткий курс истории ВКП(б)” не нравится! Чего же ты раньше молчал, соратник, сказал бы автору, пока он был жив, вы же часто встречались!

— Да это они, — задумчиво сформулировал Коробкин, — всё на одного валят, чтобы с них не спросили: “А вы? Где были вы? Кого сажали? Помните? На ком шапка-то горит?”

— И что делать? Ведь ни партии, ни власти, — опустошённо проговорил Скок, — никакой веры.

Зиновий Абрамович поломал свои ладони, потрещав косточками, и проговорил:

— А я и сам, ребята, не знаю!

Помолчал и продолжил:

— Конечно, что-то доносилось до меня — всякие разговоры, сплетни, слухи. По счастью, меня обошли и клевета, и доносы, и обыски, и лагеря. А потом, когда кого-то называли врагом народа, вопросов задавать не полагалось. Да и сейчас не полагается.

Он покрутил головой, и его очки с красными линзами зловеще заблестели.

— А вот про веру, Джурий, это неправильно. Страна большая, людей много. Разве мы случайно выиграли войну? А индустриализация? Хотя бы вот здесь, в этом городе? Ошибки бывают у всех, но не верить всем подряд — и матери, и отцу, и тем, кто во главе, — нельзя! Просто невозможно.

Я достал из кармана заповедную бумажку, списанный хвостик закрытого письма. И вслух прочитал его.

— Откуда это? — удивился наш советчик. Я объяснил.

Он будто проснулся, даже помотал головой.

— Возможно! Да, может быть! Я не очень помню, разве всё осознаешь, но вы сейчас прочитали... Подчеркнули... И это что-то проясняет! Ответственность за страну не может принадлежать лишь одному!

Он опять поломал пальцы.

— Вы уже взрослые люди. Научиться отличать добро от зла, предательство от верности, веру от неверия — нелёгкое умение. Особенно, когда они намертво сплетаются, а то и сливаются в одно целое. Такое умение — раз-

личить одно от другого — целая наука. Многие её до смерти своей освоить не могут. Но надо стараться.

Он поворочался, побряхтел по-старчески.

— Так что неверие в партию — это глупость. Вашему племени предстоит её очистить, это другое дело! Но не верить — значит, предать.

В кабине стало душновато, я распахнул дверь, воздух обновился, в большом зале царствовала прохлада, свежесть, да и говорить за общей закрытой дверью вполне безопасно. Только вот кричать нельзя. Но мы даже такой, совсем малой массой перебивали друг друга, шумели, наконец, наш наставник изрёк:

— А теперь я нарушу партийную дисциплину. Вы, конечно, можете сослаться на меня, но знайте, что на другой день я вылечу отсюда, и это навсегда! Так что вы готовы проявить порядочность?

Мы почти взвыли от такого сомнения, и наш старший доброжелатель сообщил следующее.

Черкинов и Карпевич добрались до приёмной ЦК, сюда едет комиссия и журналист одной из центральной газеты, чтобы подробно во всём разобраться. Решение комитета комсомола, исключившего их, судя по всему, отменять не будут. Но из университета не выгонят. Только переведут на любое другое отделение истфилфака с журналистики. Тимохину из секретарей снимут. За организацию поездки и сбор денег. А Бориса Самуиловича уже освободили от заведования кафедрой партийной и советской печати. С формулировкой: “За низкий уровень воспитательной работы”.

Мы сидели, онемев. А про Джурку, видно, наставник приберегал на сладкое.

— Вам, Джюра, надо не горячиться, как вы делаете даже сейчас, в кругу друзей. В корне изменить своё состояние. Выпрямить дух. Решение о вашем исключении из комсомола только обсуждается. Оно может не состояться, если вы признаете ошибки. А может и состояться, если будете валить на власть в целом. И, значит, дискредитировать систему.

Он вздохнул.

— Выбирайте! Но я советую, придите в себя. От вас не убудет. Вам жить да жить!

6

Похоже, отсутствие на бунтарском собрании по причине двухстороннего крупозного воспаления лёгких одарило меня странной привилегией: незамазанного, но близкого к событиям соглядатая.

Вроде какое тут преимущество? Но меня как-то неясно выделяли. И чуть ли не индивидуально — скорее, штучно — позвали на очень немногочисленное, но важное ристалище. Уже не в райком, а в комсомольский обком. Робяя, я проследовал по ковровым дорожкам, в небольшой зальчик, куда скоро, можно сказать, привели Джурку. Слово “привели” здесь выходит не очень справедливым, потому что главной провожающей нашего бунтаря оказалась та самая румяная филологиня с косичками по фамилии Грачёва. Дочка профессора. Но тут же был и Серафим Юрьевич, опять знакомое лицо. Ничему не удивляясь, он молча пожал мне руку, негромко сказав:

— Смотри!

Я поначалу подумал, что тут какое-то предупреждение. Или как? Только по ходу дела сообразил, что это просто пояснение: мол, гляди, и всё. Без подтекстов.

Заседание оказалось недолгим, во мне мелькнуло, что всё тут продумано заранее. В комнате появилось человек семь каких-то персон, но одну я знал. Это оказался тот самый дядька, который спрашивал, как мы относимся к Сталину, Фёдор Тимофеевич. Теперь он был уже в пиджаке с галстуком и без орденской планки, оглядывался вокруг приветливо, как тогда, весьма доброжелательно посмотрел и на меня. Но сел сбоку, хотя оказался намного старше всех, а делом управлял совсем юный парень, немного старше нас, к которому, тем не менее, все обращались по имени-отчеству.

Этот молодой сдержанно, без лишних чувств, сообщил, что студенты университета, комсомольцы, прежде всего, проявили свою политическую малограмотность, поставили под сомнение систему в целом, ударились в демагогию. Двое — он назвал их имена — из комсомола исключены. И вскинул голову:

— Но в университете они учатся!

И подчеркнул, повысив голос:

— Мы не оставим неразумных в одиночке!

Хотел, наверное, сказать “в одиночестве”, но услышалось-то по-другому. По крайней мере, мне. Я поёжился.

— А теперь, — сказал этот молодой начальник, — мы слушаем ещё одного, — усмехнулся. — Энтузиаста! Стоит вопрос о его исключении.

И к столу Джурку подтолкнула, отчего-то улыбаясь, Грачёва.

Тот глядел вокруг горячими, искренними глазами, полными слёз, но до них всё-таки не дошёл. Ругал себя. Анализировал. Признавался, что виновен, и клал голову на плаху, обещал, что подобное не повторится. Мне искренне хотелось, чтобы поскорее всё это кончилось. Ругал себя, что побежал сюда по первому свистку, ну, а как же было не пойти, если зовут?

— Обсуждать будем? — спросил молодой и поглядел на Фёдора Тимофеевича в пиджаке. Тот повёл головой, как будто подавал команду.

— Всё ясно! Характеристики, которые собраны, — он пошуршал бумагами, — положительные. А теперь слово секретарю райкома, — он назвал фамилию Серафима Юрьевича. — Он же ведь аспирант университета!

Джурка хотел, видать, задраться как будто, но Серафим ему не дал.

Он сказал резко и решительно, что студентам не хватает знания жизни; им нужно идти в гущу народа; самое положительное и доступное — создать оперативный комсомольский отряд. И навести порядок! Решение на эту тему есть, комсомол готов работу возглавить. И вдруг обратился к Джурке:

— Скок, пойдёшь в комсомольский отряд?

Тот, конечно, обрадованно кивнул. Серафим отыскал глазами меня, но не тронул, а тряхнул головой и твёрдо заверил:

— Многие студенты уже подтвердили своё участие!

7

Потом мы почти надрались. Между прочим, снова в компании с Пудолем и в том же “Савое”. Джурку качало-таки от радости. И то — какой валун свалился с плеч! Веселился и Минибай, признавшись, что его пороли как курсового секретаря вдоль и поперёк!

— А ты? — уточнял я.

— Молчал и кивал. Как выяснилось, самое лучшее, что можно сделать! Начнёшь говорить, да ещё крикнешь лишнее!

Пудоль смеялся, восхищённо почему-то мотал головой, удивлялся Джурке, называл правдолюбцев чудаками и при этом не раз повторил:

— Их час ещё не пришёл! Погодите малость!

При этом сообщил, что приезжал серьёзный мужик из большой газеты, второй, а не первой по значимости. И надо следить — скоро появится разбор.

— Наверняка нас всех заставят это перепечатать, — сказал Пудоль, — но есть твёрдое указание. Самим никуда не лезть!

Он гоготнул:

— А то ещё нафантазируем ерунды! Подольём керосину в огонь! Но! Урал! Будет соблюдать! Спокойствие!

Пудоль снова читал свои стихи, мы восхищались ими и чокались казённым хрусталём. И тут он то ли в шутку, то ли спьяну спросил Джурку:

— А может, тебе жениться!

Мы хохотнули, Скок вместе с нами. Но ответил, мне показалось, повзрослому:

— Надо встретить! Надо привязаться! Надо, в конце концов, научиться зарабатывать...

Но на этой разумной ноте подведение политических итогов не завершилось. Пудоль стал склонять голову то вправо, то влево, затем вскидывал её, и каждый раз как будто заново встречался с нами.

— О-о! — поднял палец наш признанный гений. — О-о!

А потом произнёс две истины, запавшие на всю жизнь. Думаю, не одному мне.

— Запомните, — с трудом, каменеющим языком проговорил он и указал пальцем на Джурку. — Судьба превратна! Набздишь и нюхаешь обратно!

Мы даже толком не поняли, что это говорит нам признанный талант — такая это была неинтеллигентная фора Пудоля выходка. А он собрался с силами и сказал ещё кое-что.

— Оглянись вокруг себя, не е...ёт ли кто тебя?

И мы, дурачки, оглянулись вокруг себя.

8

По весне все мы попали в комсомольский оперативный отряд. Для этого требовалось прийти в райком, лучше кучкой человек в пять, прицепить к рукаву красную повязку, где белыми буквами пояснялась наша принадлежность, и ходить по маршруту, указанному на бумажке. Всякий раз группе присваивался номер этого маршрута.

Больше всего подмывает нарисовать здесь какую-то героическую операцию, где победили порядок и справедливость. Но ничего героического с нами не произошло. Серафим Юрьевич, инструктируя первый раз, повторял одно и то же: “Злоупотреблять не смейте, но у вас есть кулак! А если что-то особое, бегите в опорный пункт, где дежурит милиция. Повязка заменяет документы”.

Успех этого предприятия заключался в том, что райкомы вывели на городские улицы тучи человеческого молодняка. Мы будто водили какие-то хороводы. Вроде маршрут наш, а навстречу целая толпа ребят, совсем незнакомых, спрашиваем: откуда? Из политеха. Или вот девчонки! Медички ходили толпами человек по пятнадцать. Кудахтали и хихикали — от такой полуроты любой бандок сбежит. Шутка ли, столько девок сразу!

Словом, мы утюжили асфальт, булыжные мостовые, деревянные тротуарчики, и столько, видать, было нас, готовых как ласково усюветить, так и пустить в ход кулаки, что хулиганьё то ли эмигрировало в иные веси, то ли — что тоже не исключалось, — помылось, побрилось, причесалось и присоединилось к молодым дежурным по городу! И умно поступило!

Раза два Серафим сказал нам, что где-то в районе Центромаша, — знаменитый такой заводина — состоялась попытка драки, но инициаторы схлопотали своё, а их подручные смылись. Вот в таком роде. И ещё он кипел энтузиазмом, сам отказываясь понимать, как это произошло:

— Милицейские сводки сводят хулиганство почти к нулю! И это ваша заслуга! Ребята, вы дежурите не зря!

9

Впрочем, все эти события не имели серьёзного значения — они походили на фон, где судьба требовала от нас начертать что-то посерьёзнее. Как-то однажды нам раздали перечень городов и газет, куда нас направляли на летнюю практику. Ехать требовалось за свой счёт, жить, как кому придётся, а сама практика, формально рассчитанная на месяц, могла продолжаться всё лето, до начала занятий.

Старшие курсы допускались и до столицы, ну, а нам предлагалась вся страна за Уралом. Выбор места действия как бы становился репетицией выбора судьбы.

Три полных университетских курса, мои скромные испытания, вроде милости Сары Христофоровны, общежития на Щорса, которым владели крысы, непростой болезни длиной в два месяца, насмешливых — издаликато! — воспоминаний о Старославянце, в шестьдесят лет родившего младенца

и защитившего кандидатскую — всё это и составляло мою биографию. Более чем скромную, но тогда легко вспоминаемую, ещё тёплую и нетерпеливо ждущую продолжения.

Многие ехали на практику поближе к родному дому и родителям, — и мне, уверен, были бы рады! — но я отверг этот вариант начисто. И правильно сделал! А думал я тогда совсем как человек взрослый и разумный: домой ещё успею, а пока надо побывать в местах дальних, куда не так-то легко и добраться. И, воспитанный на светлых идеалах недавнего прошлого, выбрал Комсомольск-на-Амуре.

Вообще-то дальневосточников оказалось с гулькин нос. Яростно стремились туда Яшка Сенгур — он отыскал военно-морскую газету во Владивостоке. Минибай намылчился в Хабаровск и звал меня с собой. Но мне хотелось непременно в Комсомольск — там каждый день выходила большеформатная газета вроде “Правды” с названием “Сталинский Комсомольск”! А завлекал меня туда пятикурсник Костя Немухин, потому что бывал там на практике, и теперь редакция вызывала его на постоянную работу. Он всё повторял мне: дел там невпроворот, людей не хватает. Мне этого и желалось!

Однако путь до цели занимал шесть суток: пять до Хабаровска, да плюс ночь в город юности. Увидев, что я не отступаю от цели, матрос Яшка озбоченно стал внушать нам с Минибаем, будто дорога окажется чрезвычайно трудной и к ней надо готовиться.

— Как? — удивился я.

— Сушить сухари!

И на мои сомнения, даже слегка издевательский смех, мол, не в ссылку же собираемся, словно клевал меня и Минибая своим большим носом — неразумных цыплят:

— Голод! Не тётка! Из поезда! Не выскочишь! Магазины — за окном!

Один вагон-ресторан!

— Ну, и будем там перекусывать! — говорил Минибай.

— Эх, пацаны! Сколько ж вам капиталу-то надобно? А мне никто не подаёт!

В общем, не то, чтобы мы над старослужащим издевались, всё-таки друзя, но посмеивались и подхихикивали — вполне определённо. А он, как рассказывали соседи в его комнате, приносил из столовок бесплатный хрущёвский хлеб, разрезал его и выставлял на подоконник, под которым теплилась батарея. Потом ссыпал сухари в чистую наволочку, которую выпросил у команданши. Она уважила почтенного студента за его такую понятную цель — доехать на сухарях аж до самого Владика!

Потом пришлось всей гоп-компанией поехать на вокзал, основательно потолкаться возле деревянного павильончика с билетными кассами на восточное направление, открыть для себя, что в тамошней толпе существует постоянная группа, в тетрадку которой следовало продиктовать свои ФИО и номер паспорта. Попутно мы обнаружили, что из великой уральской столицы поезда на Восток не формируются, места продают на проходящие из Москвы, и число этих мест появляется в кассе только тогда, когда зелёная железная гусеница проходит предыдущую станцию. Так что лучше всего багаж сдать заранее в камеру хранения, а отмечаться в очереди не реже двух раз каждый день.

Ничего не переменялось с тех пор, как родители, с помощью Героя, отправляли меня учиться. Только героями предлагалось стать нам самим.

Первое же подтверждение места в очереди ввергло в трепет. На другой после записи день ею управлял совсем иной человек, который ярился, не желал нас слушать и уступил с большой неохотой, конечно, отыскав нас в списке, но ничем не обрадовал: ждать, по расчётам, предполагалось ещё пару суток, и одни уже миновали.

На Урале стояла несусветная, без ветерка, жара, похожая по суровости на здешние морозы, только с другим знаком: как зависнет тут континентальный мороз зимой или такая жара летом — хоть кричи. А бежать некуда!

Мы приходили втроём, барахлишко наше оставалось в камере хранения, где, кроме жары, стояла вонь, видать, от чьих-то протухших продтоваров,

люди с тетраднойкой менялись, но всё-таки теперь были довольно честны. Ведь честность можно и потерять от такого жаркого морока.

Ровно на третий день наших мук стало известно, что в поезде, который появится через полтора часа, окажется столько-то общих мест. Наверное, их было десять, а то и пятнадцать, но главное, мы все попадали в этот заезд. У самых дверей в павильончик клубилась людская каша, и совсем не пятнадцать претендентов крепили тут оборону локоть к локтю. Но мы решили силком отстаивать свои права. За три дня вообще-то уже пришли к выводу, что ударной силой станет старшина первой статьи Яков, и в общаге оглядывали его впечатляющий облик: чёрные флотские клёши, тельняшка, чёрный китель с двумя медалями “За победу над Германией” и “За победу над Японией”. Это впечатляло.

Однако толпу ничто не впечатляет в её корыстной борьбе, а жара сделала китель совсем мокрым. Потому Яков сдал его нам на хранение, деньги зажал в кулаке, а три паспорта взял в зубы. Впрочем, ненадолго.

Дверь открыли, мы защищали моряка своими телами, что частично удалось, но ворваться в павильон вместе с ним не удалось! Первая порция залетела, и дверь заперли собой железнодорожные менты — были раньше и такие. Но Яшка-то оказался внутри!

И вот он вышел! Сияющий, с паспортами в руке и с картонными билетами в паспортах. Вся эта атака длилась некоротко, ведь даже для того, чтобы выйти из павильончика, требовались сила и напор. Мы заторопились в камеру хранения.

А когда поезд вполз на первый путь, мы побежали параллельно ему, чтобы первыми заскочить в вагон. Не тут-то было! В него стремились не только обилеченные, но и всякие проходимцы, кричавшие, что у них кто-то умер и кто-то рожает. На вагонных поручнях висела человеческая гирлянда. Слегка озверев, Яшка кинул нам свой пухлый вещмешок и заорал, что было мочи: “Раступись, матросы!” — и стал скидывать с лестницы одного, другого, третьего, толкнул локтями тётку, влез по ступенькам и исчез в чёрном вагонном нутре! Что-то кричала проводница, людская гирлянда утроилась, и меня уже начал бить страх: ведь поезд уйдёт без нас!

Но тут спасительно грохнуло окно в вагоне. Первое к выходу. Яшка выскочил с ликующим видом и крикнул:

— Кидай барахло!

Мы с Минибаем передали Яшкин мешок, мой фанерный чемодан, выдавший фронтные виды, Минибаеву сумку.

— Давай ты! — крикнул мне Яшка.

— Я!

Вот это был фокус!

Я протянул ему руки, он, вывалившись наполовину, больно ухватил меня, Минибай подсадил. Р-раз — и я оказался в вагонном туалете. Яшка, оказывается, стоял ботинками на толчке, а окно открывалось на две трети. Теперь, уже вдвоём, втащили Минибая. Он был выше меня, тяжелее и снизу его никто не подсаживал. Но всё обошлось. Хоть и с царапинами. Но полной победы мы не одержали. Общий вагон был забит под завязочку, вроде консервной банки. Как и три года назад тот Герой Советского Союза, Яшка перетолкал чьи-то мешки и освободил одну третью полку. Но лишь одну. На троих. Уже и пот не вытирая, — платки хоть выжимай! — истекая солёной и горькой влагой, мы выслушали окончательный приговор старшины:

— Спать придётся по очереди.

Что и происходило в течение примерно суток. Потом, по мере выхода пассажиров, но ещё до появления новых, мы захватили нужное для жизни пространство и чувствовали себя первоклассно.

Ах, как было хорошо ехать в неведомое! Мы часами стояли в тамбуре; сидели, тесно прижавшись друг к другу на нижней полке, подвинув соседей; мы лежали, глядя в потолок, и без конца болтали друг с другом.

О чём говорили тогда — восстановить невозможно.

Но ясно помню, что мы были дурашливы и светлы. Нам всё нравилось. И некрасивая женщина, кормившая младенца, который и затыкался-то только

затем, чтобы вцепиться ненасытным ртом в материнскую титьку. И сам этот младенец, несмотря на бесконечный его ор. И какие-то уркаганистые мужики, зоркие, но смиренные, похоже отсидевшие свои сроки. И крикливая проводница в неснимаемой фуражке с красным околышем, которая кричать-то кричала, но умным глазом выявляла, кто окрика её не достоин. И испуганные старухи, растолканные чужой волей по разным вагонным сусекам, но похожие своим неуверенным, угодливым, всего страшась видом.

Меня коснулась и тут же отлетела — по причине моей ещё, видать, неспелости, — взрослая мысль, что вот мы трое — часть этого мира. И нам отчего-то уютно в этом несвежем воздухе, среди ничем не связанных, может быть, даже, враждебных друг другу людей.

Но ведь людей!

Живых, страдающих, куда-то в этой тесноте передвигающихся — исключительно по необходимости, а не для развлечения или ради суетных желаний.

Выходило, что мы вместе с этими мужиками, старухами, женщинами и младенцами! Такие же, как они! И мы — составляющая их часть, молодая, конечно, но никакого в том преимущества у нас нет. Да, мы моложе, но они старше, значит, больше страдали, больше знают и труднее им приходится жить.

Может, когда-то и мы достигнем их лет. Как всё сложится, разве отсюда увидишь?

А сейчас мы только часть этого вагона, этого поезда, этой страны, шевелящейся, едущей, бегущей!

Слово и понятие “народ” было бы слишком высокопарным для тогдашнего образа нашего обитания. И мы просто ехали, просто болтали, просто смеялись и неслись навстречу чему-то неведомому. Но такомужданному!

10

А Яшка оказался прав!

После первых двух суток пути, когда мы по три раза в день посетили вагон-ресторан с солянкой, бифштексом и салатцем с рюмочкой, ресурсы наши обмелели.

Мы перешли на режим путевой экономии, с одним урезанным ресторанным обедом, но с завтраком, полдником и ужином из Яшкиных сухарей.

Мы опять же посмеивались, но теперь — над собой, а Яшка с шуливой отместкой корил нас неопытностью, самоуверенностью, нерасчётливостью.

И мы дружно глядели за окно, миллион раз удивившись безграничности и красоте заоконных промельков.

— Какая же огромная наша страна! — не уставая, охал я.

— Какое же бесконечное государство! — мудро приговаривал Яков.

— А если бы вы поглядели на это с воздуха! — соглашался Минибай. Он ведь один раз перелетел с Крайнего Севера в столицу Урала. Единственный из троих он летал пассажирским самолётом.

Может, даже единственный во всём вагоне!

Повесть шестая

МЕЧТЫ О НЕЗНАЕМОМ

1

Мы обнялись прямо у вагона в Хабаровске: наш старшой ехал тем же вагоном дальше, к Владуку, Минибай достиг цели, а я перешёл на другую платформу, чтобы сесть в поезд до места моих надежд.

Но прежде чем рассказывать про мечты о неизвестном, самое время поклониться Косте Немухину: ведь это именно он сказал, что в Комсомольске есть газета, где мало народа и работы — бескрайняя прорва.

— А сам горю? — спрашивал он себя и тут же отвечал. — Легенда! А народ живёт? Героический! А река Амур! — И голос понижал: — Да там прямо в реку — те-с! — уходят подводные лодки. И дальше в океан уплывают!

Был Костя старше меня на пару лет, сам здесь практику проходил, да так достойно, что его же не только на работу вызвали и подъёмные выслали, разумеется, дорога за счёт редакции, да ещё и переезд кого угодно оплачивали, если женат — то жены, и детей, и тётчи. Но Костя был не женат, детей не имел, поэтому, чтобы не упустить возможность, приехал с деревенской тётей своей из-под нашей уральской столицы по имени тётя Глаша. Глафира Ивановна — таким было уважительное к ней обращение.

Однако всё это — чуть погодя, а пока мне было точно известно, что Костя на работе, прибыл сюда неделю назад, да ещё и сразу получил жильё — до того здесь не хватало образованных газетчиков! И с тётей Глашей уже повсю обживается, о чём он, добрая душа, не ленился сообщать мне аж телеграфом. Штуки три прислал, затаскивая меня к себе, да так, что я с самого начала знал, что ночевать стану сразу у него с тётей.

На вид Костя был совершенно неказист. Лицо сероватое, будто несвежее, глазки невыразительные, голова с ранними проплешинами и спереди, и с макушки. Одевался по эпохе — непритязательно: про штаны не говорю, старые в гармошку у паха, на коленках они пузырились, но тогда ходили так почти все, и только пиджачок чёрного цвета могла освежать рубашонка с воротничком навыпуск.

Но душа! Как-то этак даже слегка прижмуриваясь, но при этом произнося слова построже, Костя чуть улыбался и выспрашивал про твои дела. Если ты, например, был не в настроении, он тотчас усваивал это, и принимался не то чтобы утешать, но отвлекать человека в другую и непременно ясную сторону. Если понимал, что дело в деньгах, он тут же начинал шарить по своим карманам и, если сам-то у себя ничего не находил, то удалялся, а через некоторое — и очень короткое! — время возвращался и протягивал денежки. Все знали: перезаянл! Но не для себя, а для тебя.

Кроме того, Костя обожал сводить людей: представлял друг другу незнакомых, начинал рассказывать тебе про кого-то другого, и тут же оказывалось, что этот другой, стоит прямо перед тобой, и, таким образом, знакомство совершалось и почти всегда продолжалось.

Костя ещё мастерски умел мирить людей. Всякий спор, особенно околонуточный, — ведь наши споры между собой, были, конечно, почти всегда толковищем не до конца образованных людей, самых настоящих недоучек, — так вот, когда они достигали точки кипения, даже готовности к рукопашной, Костя одной-двумя фразами, произносимыми примирительно и мягко, всё самое твёрдое и слишком уж уверенное как бы умягчал, сглаживал, и спор иссякал.

Костя любил хорошо говорить про людей и всему в них восхищаться. Ещё в университетских коридорах он удивлялся другим ребятам: какой хороший характер! Какие глубокие задатки! Этот далеко пойдёт! Но он же и горевал:

— Как нам всем не хватает глубины! Усидчивости! Упорства!

Себя не обижал:

— Особенно мне самому!

Увы, всякие качества человека — благие или не очень — использует окружение и даже власть. А потому Костя был записным выступающим на каждом официальном собрании. При этом, как я узнал, он никогда не записывался, а его непременно вызывали. Знали, что он ничего плохого не делает. Только откроет рот, сразу всех заговорит, загипнотизирует. И ведь он не тараторил! Даже спотыкался. А когда спотыкался, задумывался, выбирая слова, мемекал, получалось, что он думает, печалится, страдает, и ему всегда верили. Именно про Костю и говорили: далеко пойдёт.

Ну, так и вышло, что пошёл он очень далеко — аж на самый Дальний Восток. С тётей Глашей на руках. А меня он не сманивал, мне самому хотелось, да ещё как! Однако Костя всё же что-то своё думал, когда звал какого-то третьекурсника в газету, где самому предстояло только начинать.

В общем, на вокзале поутру Костя встречал меня с каким-то мужичком постарше, который оказался шофёром, а дальше мы сели в “Победу”, возившую аж самого редактора, и минут за десять достигли искомого.

Описывать редакцию не следует по причине её простоты и бесхитростности: верхний этаж двухэтажного сооружения, под которым, как потом я узнал, очень удобно располагалась типография. И привёл меня Костя прямо к редактору. Фамилия его была Хлебников, и он знал тут всё, как растолковывал мне Костя, потому что строил город с самого начала. Подтянутый, седой, худой, Хлебников без лишних слов и одарил меня хлебом-солью. Сперва сообщил, что ставит меня на оклад, направляет в главный отдел, называемый промышленно-экономическим, а если я ещё и фотографирую, — что вспомнил попутно Костя, — то лирические заметки с хорошими фотографиями здесь желанны и жданны.

Мне не могло не льстить, что меня приняли за взрослого человека, готового специалиста, и всё лето до сентября я с радостью вкалывал тут, легкомысленно пообещав на прощанье вернуться.

Газетная жизнь, вообще-то, — дело горячее, часто суетное, позволявшее роздых только в дни больших съездов, пленумов и речей, размножаемых через телетайп из Москвы. С этим тут не спорили, а радовались и переводили дыхание. Но в остальные дни! Я готовил чужие заметки, написанные чаще всего совершенно неграмотно, но они назывались авторскими и ценились на вес золота. Такого золота требовалось выдавать в каждом номере не меньше 60 процентов, только 40 отдавалось штатникам. Речь шла как о месте в газете, так и о гонорарах. Но меня здешняя усталая и добрая редакция пропускала вперёд. Чуть не в каждом номере стоял мой материал. А иногда сразу два. И однажды — даже три!

Всё шло в дело: интервью со строителями, учителями, начальниками; записи чужих — но нужных! — высказываний; рецензии на фильмы и книги — да и какие это были книги! Например, сочинение кукольника Сергея Образцова, знаменитого уже в ту пору, о поездке театра в Англию и его замечательные соображения! И я накатал восторженную заметку, которую тут же тиснули, ещё и похвалив, хотя где Образцов с его куклами, где Англия, а где этот дальневосточный город и кто такой я!

Но всё это было впереди. А пока Костя взял меня за плечо и направил в сторону главной улицы. Мы вышли на асфальтированную дорогу и куда-то двинулись. Я порывался выяснить маршрут, но Костя говорил, чтобы я потерпел. Тут мы завернули за угол, и я будто споткнулся.

2

Прямо передо мной стояла река. Я такого ещё не видал: вода тянулась километра на два в ширину, может быть. Ну, на километр-то точно! И она, сияя отражённым в ней солнцем и небом, казалась беспредельной, особенно если глядеть направо и налево, вверх и вниз по течению. Да если и прямо смотреть, на противоположный берег, высокие сопки казались чем-то громадным, но не главным, а прилагательным по отношению к этому существительному — воде, её гигантской массе, уверенно, тяжело, с каким-то неясным и грозным назначением неспешно движущейся в неведомую даль.

Моущество воды меня поразило своим непокорством, неподчинённостью, совершенной независимостью ни от чего, кроме каких-то, может быть, верхних, нам неведомых сил. Мы же, маленькие точки по берегам, были для неё до такой степени незначительны и слабы, что она нас и в расчёт, наверное, не принимала, милостиво соглашаясь лишь с нашим удивлением.

— Ну, вот тебе Амур! — сказал Костя, прищуривши глаза от обилия света. — Поражаешь ему, как живому! Невиданный характер!

— Далеко пойдёт! — пошутил я.

— Ещё как! — не обиделся Костя. — До самого Тихого океана!

Теперь он уже оборотился ко мне:

— Понимаешь, да просто существовать рядом с ним — и то великая удача!

Ну, а дальше произошло нечто невероятное. Никогда больше со мной такого не случалось. Всё та же “Победа” привезла нас к хорошенькому двухэтажному дому, мы поднялись наверх, в Костину квартиру, оказавшуюся ещё и двухкомнатной, но пустой, с одной раскладушкой, где, судя по приметам, помещалась Глафира Ивановна, которая, обо всём давно извещённая, приняла меня, как родственника, Костиного брата, например, только помоложе.

Мы ополоснулись в ванне — тётя Глаша торопила перекусить, а когда уселись за небольшой столик на кухне — и Костя, и я вытаращили глаза.

Глафира Ивановна удивилась:

— А чё! Я вам какой-то кашки красненькой на рынке взяла.

Эта кашка щедрой рукой была разложена по глубоким тарелкам. Да ещё и на краешки их опирались большие, хоть и дюралевые ложки — чтоб сподручней кушать получалось. Ну, хлеба нарезано рядышком не очень, чтобы много, разве каши-то хлебом заедают?

Но самая поразительная подробность: в трёх тарелках под видом каши лежала красная икра.

Тётя Глаша была крайне смущена нашим смехом. Сперва недоверчиво глядела на нас, потом вконец смутилась. И в неспешном разговоре, да потом с продолженьем, обрисовалось не что-нибудь, а вся её судьба.

Никуда за свою жизнь Глафира Ивановна не выезжала из своей деревушки, которая и запряталась-то довольно недоступно от уральской столицы, так что она даже и там-то не бывала. Родилась, выросла, начальную закончила, крестьянствовала, братья-сёстры уехали — одна из них была Костиной матерью, — а своих детей у Глафиры не получилось по причине её некрасивости — никто замуж не взял. Вот почему она с Костей-то прямо из деревни, родины своей, и двинулась, куда глаза глядят.

Про икру никакую она и не знала, никогда её не ёдывала, но гречневую-то кашу варила, ясное дело, и когда Костя направил её на здешний рынок, да ещё в первый раз за неделю нового житья, она и взяла эту красную еду, приняв за какую-нибудь тутошнюю кашу. Да и разложила к нашему угощению!

Тем, кто усомнился в подлинности события, напомним: телевизора тогда не существовало, дороги и посейчас не до всех углов добрались, люди из деревень разбежались, не всегда возвращаясь, а забытые старухи... Их слишком много и посейчас, но дело в том, что они уже другие.

А как мы хвалили Глафиру Ивановну за эту солёную кашу! Правда, больше трёх столовых ложек одолеть не удалось! Да и то пили воду до поздней ночи.

3

Похоже, любое появление новичка в любой, а особенно небольшой редакции во все времена происходит совершенно мимоходом, в одно касание. Я поздоровался в первый же день почти со всеми. Трудность состоялась в том, чтобы запомнить с одного раза имя-отчество грядущего наставника — прямого или косвенного — и не запутаться в фамилиях-именах-отчествах.

Среди самых тихих и вежливых оказался художник-ретушёр Игорь Николаевич, с которым я столкнулся по делу буквально через день, отсняв и напечатав свою первую катушку. На плёнке не было ничего существенного, кроме городских уголков, которые я выбирал неумело, но всем сердцем.

Одну такую картинку я и принёс Игорю Николаевичу, сперва подтвердив её необходимость газете у ответственного секретаря Тёмкина. А он когда-то закончил наш университет, так что тут выстраивалась целая уральская команда, и он встретил меня оживлённо, всё расспрашивал про наших преподавателей: кто да как!

Я ему послушно излагал, что знал, понимая радость воспоминаний. Ответек и до Косте, разумеется, относился дружески, без всяких при этом выборов сразу возглавив уральскую компанию. Может, благодаря этому доброжелательству картинку он сразу одобрил, и я познакомился с ретушёром.

Здесь было тихо, негромко играла классическая музыка, стены были оклеены репродукциями из “Огонька”, и работа мастера с моей фотографией

заняла минут пять, не больше. Но я удобно пристроился в мягком и крепко потёртом креслице для гостей, будто в уютном гнезде птенца, и мне не хотелось двигаться.

Молчаливый ретушёр убаюкивал своим не газетным спокойствием, тихо подкрашивал белилами картинку и спрашивал меня о жизни удивительными словами:

— Ну, как там на материке?

— А разве здесь — остров? — удивлялся я.

Он посмеивался, повторял по-другому:

— Тогда как там, в России?

Мне бы поудивляться дальше, но и следовало же соображать, что это не выдуманные им определения:

— А вы, Игорь Николаевич, — спрашивал я, — где-то учились вот этому... ретушёрству?

— Да нет, — ответил он, — но я кончил художественную академию имени Репина. Есть такая в Ленинграде.

— Так вы художник?

— Занимался мозаикой. Пятнадцать лет назад.

Под влиянием нашего великого искусствознатца Бовы и коллекции открыток Вовки Потникова, мозаика светилась нам из далёких времён и несметных богатств, когда по полам, украшенным изображениями, вдоль стен, блистающих цветными камнями, в древних тогах шествовали не наши пращурь. Мои скромные познания ретушёр переводил в реальность:

— Ну, в метро полно мозаики, например.

— Значит, вы же другое умеете, — я кивал на его планшет, — а не только это.

— Умел, умел, дорогой мальчик. Но пятнадцать лет — это пятнадцать лет.

— И чем же вы занимались? — всё не в силах был допереть я.

— Скажем так, работал на золотых приисках. Далёко в тайге.

— Ничего себе! — ухал я. — Да вам книгу писать надо. Клондайк! Джек Лондон!

— Похоже, — усмехнулся он, — но не совсем. Сидел я, милый мой. То же Север. Почти Клондайк, называется Кольма. А те, кто сидят, на самом деле вовсе не сидят. Работают. Валят лес. Или золото моют.

Газетная труба звала в бой, я выскочил, условившись о продолжении разговора и, как оказалось, многих разговоров. А этот человек, пониже даже меня, и вовсе не очень старый, но белый до кончика последнего волоска, в общих чертах, никого не вина, рассказал потом, что вышел, полностью отсидев пятнадцать лет.

Незлобливо усмехаясь, Игорь Николаевич сказал, что сидел за дурацкий анекдот про вожда, и за это его обвинили в подрывной деятельности, да ещё и коллективной. Что ценилось дороже.

— Вы знаете, — спросил я его, — про доклад Хрущёва? Про закрытое письмо?

— Знаю в общих чертах. Читать не мог.

— А я читал, — признался я.

Он с вниманием посмотрел на меня, потом кивнул:

— Сейчас вообще-то потихоньку отпускают. Но мне досрочная свобода опоздала. Я всё до конца отбарабанил.

— Наверное, — спросил я наивно, — вы ненавидите Сталина?

— Лично его — нет. И знаешь, — он выразительно, но без всяких чувств, посмотрел на меня, — я не хочу вспоминать это... А без Сталина мы бы не победили.

Однажды меня вызвал сам Хлебников и дал задание. Выглядело оно просто: написать статью и сфотографировать учительницу, которой присвоили звание заслуженной. Я уже напряжился, чтобы скакать, но шеф притормозил меня.

— Будь, пожалуйста, поделкатнее, — как-то странно попросил он.

Попыхтел своим мундштуком и прибавил:

— Эта женщина многое пережила, но дело даже не в ней.

Я был чрезвычайно внимателен, но ничего не понимал.

— Дело в том, что её муж был в заключении, — он опять глубоко затянулся. — Ещё месяц назад, понимаешь. А сейчас представлен — только не проговорись никому, слышишь? — к званию Героя Соцтруда. Дальше его выдвинут в Верховный Совет. Жалко, если уедет.

Хлебников внимательно смотрел на меня, будто проверял самого же себя: а этот парень хоть что-то понимает? Парень не понимал, и редактор понял это.

Вздохнув, пояснил:

— Её муж — генеральный конструктор. Гениальный конструктор! То, что он изобрёл и произвёл, с трудом представляю даже я. При этом был заключённым. Просто семья жила на объекте, за колочей проволокой, и он работал, а жену отпускали на уроки в школу. Даже на машине возили. Почти двадцать лет! И вот теперь всё переменялось. Они в новой квартире, свободны.

— Как птицы? — глупо улыбнулся я.

— А вот это подтвердить не могу! Они же казённые люди! Собственность государства!

При этом Хлебников чертыхнулся, выбил окурочек из мундштука, даже разозлился:

— Я это тебе, чтобы ты не лез ей в душу! Понял! В биографию! Сделай картинку и напиши ласковый текст!

За мной даже пришла машина! Отвезли довольно далеко, на окраину, к школе, хотя на дворе стояли каникулы. Всё равно меня ждали, и я быстро предстал перед Надеждой Павловной.

Внешне она выглядела очень элегантно, была ухожена, завита, хорошо одета, стояла на каблучках, как моя мама по праздникам, но при этом и туфли эти, и платье не были отличны от одежды обычных учительниц. Просто всё аккуратное, будто новое.

Я объяснил ей поручение, назвал имя Хлебникова, попросил выйти со мной на улицу и несколько раз щёлкнул своим ФЭДом. Редакторское предупреждение как-то окорачивало меня, остерегало, может быть, и я всё не решался, что же мне такое спросить, ни о чём не спрашивая. Наверное, заметив мою неуверенность, Надежда Павловна предложила:

— Мы живём неподалёку, может, вы проводите меня? А потом вернётесь к школе. Машина будет ждать.

Я пошёл рядом с ней и вместо того, чтобы расспрашивать, за что ей присвоили звание, для себя неожиданно стал рассказывать, как в войну наши уроки начинались при свечах и копилках. Получилось интервью наоборот, и Надежда Павловна с любопытством взглядывала на меня, а когда подошли к двухэтажному новому дому, вдруг пригласила:

— Вы пьёте кофе?

Ну да, я пил кофе с молоком в университетской столовке, да и дома мама изредка, может, в день рожденья, готовила мне, да и себе с отцом что-то, что называлось кофе. Я даже кивнул как-то обыкновенно, неудивлённо, и совершенно ошибся.

Надежда Павловна позвонила, нам открыла молодая, быстрая и чёткая женщина, и я сразу уловил, что это не родственница, а ещё кто-то, да и без кого-то такая квартира была бы, наверное, неупотребима для жилья. Мы прошли через зал, где стоял громадный рояль, мимо приоткрытых дверей, наверное, кабинета — в прорезь виднелись шкафы до потолка, забитые книгами. Путь лежал на кухню, и, сполоснув руки, Надежда Павловна взяла какой-то медный, слегка похожий на кувшин, сосуд с деревянной ручкой. Что-то она насыпала туда, нагревала на плите, мной до сих пор невиданной, потом принесла мне и себе две крохотные, изящные чашечки.

— Кофе по-турецки, — пояснила хозяйка и присела напротив.

— Я вам посоветую, — сказала она мне неожиданно, — когда окрепнете в своей профессии, когда придёт к вам желание и умение, напишите

про эти свои военные уроки! Про школу, про учительницу! Про всю вашу жизнь!

— Но это было в детстве! — возразил я.

— Вот именно! — кивнула она. — Это было в вашем детстве. Ни одно детство никогда не одинаково с другим! Похоже — да! Но не одинаково!

Встреча обретала односторонний характер. И я, простофиля, ещё не услышал ни слова от моей героини. А она это понимала.

— Ну! — сказала, будто услышав мою тревогу. — Напишите своими словами. В школе работаю четверть века. Двадцать последних — здесь. Преподаю математику в старших классах: алгебра, геометрия, тригонометрия. Полюбить математику — непростое дело! — И я в этом месте закивал. — Но многие выбирают её, потому что инженером стать — почётное дело! И ребята, отучившись в институтах, возвращаются на наш объект. — Попривалась. — На наш завод.

Она улыбнулась.

— На остальное, наверное, вам намекнул ваш редактор, так что пока забудем это. — И отвернулась к окну. — Всё хорошо, что хорошо кончается! — проговорила невесело.

И тут громко хлопнула дверь. А на кухне возник огромный дядька, сияющий и громкоголосый.

— Надя! — гаркнул он, смеясь и не обращая на меня ровно никакого внимания. — Собирайся! Вылет — по готовности! Звонили из Кремля! Вызывают на встречу! Самолёт прогревает моторы!

— А это, — указала на меня Надежда Павловна, — юноша из газеты! Пришёл написать про школу.

— Написать? — удивился он поначалу, потом встряхнул головой. — Ну да, написать! Срочно написать! Конечно, написать!

И убежал куда-то.

— Ну, в общем, так! — завершила встречу Надежда Павловна. — Он находился в заключении почти двадцать лет! Но он оказался нужен! И создал целый мир! Сейчас об этом нельзя, молодой человек! Но скоро будет можно! — И вдруг продекламировала красивым, как у артистки, голосом:

— *Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья!*.. — А потом спросила:

— Вы Пушкина, конечно, помните?

И, не дожидаясь моего ответа, завершила:

— Пора! Пушкин зовёт!

Машина, которая должна ждать меня во дворе школы, бесследно исчезла, я добирался автобусом и едва не опоздал в редакцию.

Хлебников лично выбирал снимок в номер, пока я шкрябал банальный текст из общих слов, но с требуемой лаской, подтверждал милый образ замуженной учительницы.

5

Между тем, я состоял при отделе, называемом промышленно-экономическим, и Тёмкин то и дело возникал в проёме нашей двери, умоляя:

— Ребята! Нет ничего ни промышленного, ни экономического!

Мой заведующий Пётр Сергеевич начинал перебирать разные пачки писем, мы складывали их в подборку, придумывали общие заголовки, которые и занимали вторую страницу, а мой Петя горячился в ответ на тёмкинские требования:

— Почти все заводы — закрытые! Какая экономика? Какие материалы? — И отпросился у Хлебникова в отпуск.

Я оказался в одиночестве. Самоходом отправился в строительно-монтажное управление, под волшебным обаянием газетных корочек, добрался до самого начальника и попросил рекомендовать самого лучшего рабочего, да поразговорчивей, чтобы можно было записать его рассказ, почему он лучше других.

Начальник дал мне провозжатого, через двадцать минут с башенного крана, вытирая руки о бока куртки, ко мне слез не очень-то и молодой, но энергичный мужчина, который тут же и нарасказал мне про свой опыт, да так, будто он делает это через день — да каждый день. Конечно, я сфотографировал его на фоне крана. Строил он, кстати, жилой дом, может, тогда самый высокий в городе.

Уже через день большой рассказ этого крановщика стоял в номере, Тёмкин расхвалил его на летучке, а Хлебников подтвердил, что звонили откуда-то сверху — он ткнул мундштуком в небо — и тоже хвалили строителя. Какой он, мол, толковый работяга.

Мне Хлебников подмигнул при этом, Тёмников показал гонорарную разметку, где рукой главного, его синим карандашом цифра в мою пользу увеличилась вдвое.

Но следующий мой выбор оказался печальным.

Полистав телефонный справочник, я отправился на протезный завод, предварительно позвонив директору. Им оказался рыхлый и какой-то безвольный человек, который, будто заранее оправдываясь, раза три повторил мне, что он тут недавно, понимает, что жалоб много, но пока не во всём разобрался, поэтому готов помогать мне, как только может.

Я догадался попросить книгу жалоб или даже отдельные письма, и директор вынул из глубин стола пухлую папку. Я пришёл в ужас. Невидимые мне люди — безногие, безрукие, все подряд больные — ругали завод, его протезы, низкое их качество и, конечно, директора. Правда, не этого. Его предшественников. Назывались три или четыре фамилии.

Дальше мне дали сводки выполнения плана, я его штудировал в силу своего понимания, и несколько фамилий, дававших низкий процент, записал.

Рыхлый вызвался проводить меня в цех, который оказался простым барраком, уставленным примитивным оборудованием. Какие-то тиски, какие-то печи, какие-то формы.

К директору бросились чуть ли не все сразу, так что мне пришлось отойти в сторонку и слушать жалобы сбоку. Рабочие ходили на рыночную толпу. Все говорили сразу — им не хватало того и сего, заказы не исполнены потому и посему, на зарплату прожить невозможно, и много ещё такого же, разбираться в чём было немисливо человеку, зашедшему хотя бы и на полдня.

Директор вылетел со мной, совершенно потный и ещё, кажется, рыхлее, похожий на студень, и повторяя себе под нос:

— Надо бежать! Бежать!

Вечером я вымучил из себя заметку про народные жалобы, плохое оборудование, никудышные зарплаты, смену директоров, ну, и назвал несколько зlostных невыполнителей плана.

Через день заметку тиснули, а после обеда кто-то громко заговорил на лестнице, в редакцию ворвался старик и крикнул:

— Кто такой Кузнецов! Дайте мне Кузнецова!

Я встал, ничего не понимая, вышел навстречу, но меня опередил опытный Тёмкин.

— Вы кто будете? — спрашивал он твёрдым голосом. — По какому вопросу? Проходите ко мне!

Подмышкой лысый этот и худой старик держал что-то вытянутое, обтянутое холщовой тряпичей, может, даже похожее на оружие или какую-то трубу.

Дверь в кабинет ответсека была всегда отворена, и там стоял большой стол, где чертились макеты полос. На этот стол, не переставая напористо выкрикивать несвязные фразы, старик тяжело бухнул свою ношу и развернул тряпицу.

К тому времени у Тёмкина собрались любопытные, старшие мои товарищи роптали по адресу шумного посетителя, но когда он снял тряпку, все опешили.

Это была нога. Самая настоящая человеческая нога, только гипсовая.

— Это только слепок! — кричал старик. — Его надо превратить в протез! Сделать пластмассовой! Снабдить подвижной системой! Смонтировать

коленный сустав из дефицитного металла! А у нас ничего нет! И я не выполняю план, потому что это невозможно! Всё липа! А ваш Кузнецов! Где он! Пусть попробует сделать ногу! Руку! Пусть хотя бы чего-то поймёт!

Откуда-то из-за моей спины в комнату зашёл Хлебников, представился старику, пожал ему руку, вежливо попросил пройти к нему в кабинет. Старик согласился, а гипсовую ногу оставил на столе секретариата. Она так и пролежит тут до конца дня.

Тёмкин махнул, чтобы все расходились. Ушёл в отдел и я. Тошнѳхонько мне стало. Я взялся руками за виски, повторяя себе: “Дурак! Дурак! Дурак!”

Мельком подумал, что, может, оказался под влиянием директора. Он ведь не может справиться, и я это только описал, не сильно вдаваясь в смысл. Я сгорал со стыда. А в редакции стояла тишина, никто не заглядывал ко мне, не выходил и я. Только Костя зашёл раз пять, но теперь не утешая, а высказывая предположения.

— Может, надо было не спешить, походить туда дня три!

— Наверное, надо выяснить, кому они подчиняются, и потолковать с начальством?..

— А парторганизация там есть? Комсомол? Но профсоюз-то есть!..

Я пожимал плечами, и выходило, что Костя на сей раз не утешает, а напротив, разбирает мои ошибки.

Текущий номер подписали в печать, Тёмкин закрыл кабинет, так и оставив на столе гипсовую ногу, Костя отправился к тѳте Глаше, а я, сославшись на работу, остался у себя.

Зашѳл наш Репин — так мы с Костей уже обзвали про себя ретушѳра. Он, конечно, выскочил на крик, стоял в толпе и всё прекрасно ведал. А сей-час сел на стул, закинул ногу на ногу.

— У меня там, — мотнул головой на окно, — сколько раз так было! Моешь, моешь, охрана пьянствует, а у тебя — пусто. Бывало, и жратву сокращали, дескать, вкальвай усерднее. А потом — раз! — и крупный камешек. Раз! Небольшой самородок! Сразу план за три месяца. Ещѳ лучше — план всей бригады! Это нас и держало. Все гребли для всех!

Приоткрытая дверь кабинета скрипнула, и вошѳл Хлебников. Когда входит в комнату высокий человек, он толкает перед собой воздух, и этот воздух приносит свежесть. Так что сначала в комнату втокнулся воздух, потом вошѳл самый здесь главный и устало бухнулся на диван.

— В общем, этот дедуля обиделся за его упоминание. И правильно, потому что он там лучший из всех. Я заехал в горком, по заметке состоится их постановление. Задницу намылят всем подряд — очередь ампутантов этих огромная, а материала для работы нет.

Он поглядел на ретушѳра и ткнул пальцем в меня:

— Если бы он не наврал, так бы там всё и догнивало. Так что...

— Враньѳ — движущая сила? — усмехнулся наш тихий Репин.

— Не враньѳ, а печатное слово! — мотнул головой Хлебников. — Это вроде ключа зажигания в машине!

Потом обернулся ко мне:

— А тебе это... Зарубка на память. Запомни этого старика!

Помню, шеф, помню.

Помню ещѳ, что на мою практику пришлась одна непростая перемена. Газета “Сталинский Комсомольск” стала называться “Дальневосточный Комсомольск”. Во время посиделок у молчаливого ретушѳра я спросил, как он отнёсся к перемене.

Наученный думать, прежде чем говорить, он ответил, взяв вначале долгую паузу:

— Не он называл. Не он и переименовывает.

Однажды, и как-то между прочим, Костя сказал, что у него тут живѳт ещѳ один родственник, двоюродный племянник тѳти Глаши по имени Клим.

Больших по размерам людей Дальний Восток, наверное, притягивал особенно, и Клим явился совершенно громадным, вроде того конструктора,

однако моложе летами — этакая детина, опять же моряцкого происхождения. Он перебрался с Камчатки, где отслужил на флоте, потом порыбачил на траулере, заработал денег, и вот приехал на тот самый незримый заводиче, откуда по ночам что-то таинственно выплывало в Амур.

Клим, вступив в Костину квартиру, как-то сразу заполнил её своей маской, своим голосом, смехом, вольными жестами, да и был-то он к тому же не один, а с девушкой Елизаветой.

В ту пору не было принято, чтобы влюблённые при всех обнимались или, не дай Бог, целовались, поэтому они просто сидели, тесно прижавшись друг к другу, а маленькая и хрупкая Лиза никак не могла положить Климу голову на плечо. Поэтому просто прижималась к нему, а он поднимал, смеясь, руку, и она под этим огромным крылом удобно умещалась, ответно попискивая, как птёныш.

Тётя Глаша хлопотала на кухне, а Клим уже раза три предупредил, что они с Елизаветой пришли сюда неспроста, а чтобы сообщить важное известие. Костя похохатывал, всюду улыбалась и наша знаменитая кашеварка, над знаменитым угощением которой ржала вся редакция, вплоть до машинисток, — словом, Климово сообщение носилось в воздухе, подразумевая самую главную тайну: когда?

За столом всё это и выяснилось, само собой, вызвав разностороннее удовольствие, только Костя сделал рабочее уточнение: “Накануне приходит эшелон с добровольцами, для них очищают целый квартал общежитий, а Климова комнатка как раз на краю этого поселения”.

Никто этому замечанию не придал никакого значения, свадьба есть свадьба, но вся беда, что мы с Костей, точнее — именно Костя! — уже являли собой некое общественно-политическое явление. Странно подумать, что мы что-то такое собой представляли! Были сотрудниками газеты! А газета — что? Коллективный пропагандист, агитатор и организатор! В общем, кого-то мы изображали. Ошибочно, конечно.

Я был на вокзале и оказался пристяжным в команде опытных работников, которую возглавлял Хлебников, ясное дело, из молодых — Костя и я с фотоаппаратом.

Моё дело — щёлкать направо и налево, всем остальным — спрашивать, брать интервью, в общем, вечером в день прихода эшелона “с материка”, как сказал бы Репин, мы, как на большой кухне, готовили блюдо завтрашнего дня — с картинками на первой и второй страницах, с текстами разного рода, и до того дошло, что Хлебников пошёл диктовать своё предисловие к номеру прямо на ленту.

По винтовой железной лестнице я спустился в типографию, чтобы полюбопытствовать, как это делается, и уже увидел процесс, где автор не перед машинисткой выхаживает, а перед огромным, щёлкающим агрегатом, где сразу каждое слово и отливается в металл.

Хлебников говорил громко, чтобы перекричать шум, почти кричал, а увидев меня, сделал большие глаза и замахал мне руками, чтобы я сматывался.

На том и закончилось. Утром вышел номер, можно сказать, праздничный, потому что описывал торжественную встречу новосёлов и радость старожил.

7

Таким образом, утро не предвещало ничего худого, мы с Костей обсуждали, что купить Климу и Елизавете, потом оказалось, лучше дать деньгами, и я передал Константину свою долю.

Ясное дело, утром и вечером нас кормила Костина тётюшка, днём мы бегали в столовку, и я, может, впервой в студенческую эпоху, не считал — надо же! — денег. Два раза в месяц получал зарплату, а к ней прилагался гонорарий, часто в несколько крат зарплату превосходивший. Костя меня наставлял: открой сберкнижку, клади лишнее, зимой пригодится! Я соглашался, но это совершенно не было важным теперь! Несколько раз мои заметки

перепечатывали в краевом центре и слали переводы. Одну фотографию — портрет красивого паренька-фэзэушника — я послал на конкурсе аж в самую “Комсомолку”, её напечатали, дали награду и послали гонорар, удививший всех моих коллег. Не знаю, что привело к удаче: то ли красивый мальчик в фэзэушной форме и несколько строк про него, то ли далёкий наш адрес, но радовался картинке в центральной газете не столько я — я-то как-то затревожился, хорошо ли? — а вся редакция. Даже поглядывать на меня стали почтительнее некоторые. Особенно машинистки и уборщицы.

Про строителей-добровольцев я тоже сколотил заметку в край, продиктовал её даже по телефону, и мы с Костей отправились на свадебное торжество.

Топали мы пёхом, расстояние нас не пугало, день стоял жаркий, а вечер обещал тепло, тишину и благодать, к тому же с Амура лёгкими волнами нас достигала нежная прохлада.

Мы приблизились к кварталу двухэтажных барачков, — и Костя, и Хлебников говорили, что с них когда-то и начинался город, — но тихое это место сегодня предлагало что-то неожиданное.

Пробежали мимо нас немолодые люди, промчались, повизгивая, девчонки, сразу штук пятнадцать, что ли. Навстречу хромала пожилая женщина.

— Ой, скорее, милые, скорее! — проговорила она. — Что там дёется! Мамаево побоище!

Мы прибавили шаг, даже перешли на перебежки.

И тут открылось довольно большое пространство между двух рядов серых барачков. Расстояние между домами составляло метров семьдесят, но сами-то эти бараки тянулись далеко.

И вот между ними дрались люди. Некоторые постарше нас, но и наших ровесников хватало. Бились, как в историческом кино, — стенка на стенку, и понятно, кто на кого, было немисливо. Одни парни лупили других, а женщины их же возраста прижимались к барачкам и болели за своих:

— Лупи их, лупи!

И вот тут в Косте, да и во мне, хотя и в меньшей степени, проснулись представители прогрессивной общественности.

— Да что же такое творится! — воскликнул негромко Костя. — Их надо остановить! Они перебьют друг друга!

Он повернулся ко мне не то, чтобы всем лицом, всей фигурой, а всей душой:

— Надо позвонить в милицию! А телефон — там, — он указал на подъезд, у которого крутилась самая что ни на есть мясорубка.

— Прорвёмся? — спросил он.

— Прорвёмся! — ответил я, вспоминая скромный опыт комсомольского оперотряда.

Не вступая в бой и не схватив ни одного случайного удара, мы ворвались в подъезд общаги. По бокам там стояли два дивана, а на столике в углу чурчал телефон.

Костя махнул редакционным удостоверением, подскочил к телефону, набрал милицию. Крикнул:

— Это Немухин из газеты! Массовая драка у общежития добровольцев! Высылайте наряды!

Я запомнил это, а потом ещё думал про эту оговорку: Костя сказал не “наряд” — одному наряду милиции делать здесь было нечего, что и произошло, — а “наряды”. А это логично принять за одежду. “Высылайте наряды!”

Но такое могло лишь мелькнуть, как осколок уходящего света! Меня ударили сади, и я оказался на диване. Костю швырнули на другой. И молча — молча! — стали нас лупить. Хорошо, что только руками.

Но и этого доставало!

В глазах, да и во всей голове сверкали отчего-то синие молнии, надо было укрывать лицо, но тогда удары приходились в живот, в плечи, в бока. Можно было бы наклониться, закрыть руками лицо, тогда открывались уши, а это тоже слабое место человека.

Меня били, а я даже не мог придумать, не мог вскопичить, чтобы побегать, например, чтобы как-то воспротивиться. Нас били беспощадно, безответно, и за что? За звонок в милицию?

Наконец, кто-то отчаянно заорал, и я узнал Костин голос. Костя кричал так, как кричат, когда убивают. И молотобойцы на секунду остановились.

Она оказалась спасительной. Мы разом вскочили и кинулись к дверям. Окровавленные лица наши, похоже, что-то собой означали, и драка перед подъездом вдруг приостановилась, а толпа чутьчку расступилась. В этот человеческий коридор кинулись мы, добежали до выхода из него и ринулись к дальнему бараку, где нас ждал Клиим.

Мы ворвались в комнату, где за столом уже сидели жених в пиджаке с галстуком и невеста с чем-то беленьким на голове. И вся свадьба вскочила. Маленькая Лиза подпрыгнула и повисла на Климе, удерживая его. Но он ласково освободился от объятий, скинул пиджак и возглавил ударный батальон. Ребята, с которыми мы крепко сойдёмся в течение следующего часа, собрались на Климову свадьбу всё заводские, отслужившие армию, и никто из них не усомнился в праведности атаки.

Я её не видел. Но Елизавета и весь женский состав в один голос подтвердили, что Клиим во главе своей бригады начисто уложили всех, кто был на дорожке у общаги, ворвались в подъезд, перевернули диваны, оставив в целости лишь невинный телефон. А когда выскочили обратно и увидели побитых мильтонов в порванных кителях — стали биться дальше, пока не подоспело государственное подкрепление.

Наряды. Во множественном числе.

8

Пока совершался акт мщения, мы с Костей, сменяя друг друга, держали под краном то лицо, то всю голову, то руки, которым тоже досталось. Топтались мы на кухоньке полуголые, а разные гости женского рода, которых я и видел-то первый раз, заходили по очереди, чтобы осмотреть наши голые торсы и установить, что в целом мы ещё пока живы, а больница не требуется.

Но голова трещала! Зубы шатались, а у Кости один зуб шатался даже очень основательно, угрожая выпасть. Кое-как нас переодели в рубахи Климова размера, они висели на нас вроде халатов, а потом вернулся и разгорячённый жених со свитой друзей.

Они кричали, возбуждённо перебивали друг друга, но, едва Клиим умылся и повязал галстук, все радостно уселись за стол.

— Добровольцы добровольцами, — подвёл он итог схватки, — но и наши хороши! Устроили, видишь ли, гостеприимную встречу!

Стол, раскинувшийся перед нами, был народным от начала до конца, и жратвы обнаруживалось в избытке. Но нам есть не хотелось, да и не могло — зубы-то шатались. Какая-то добрая тётушка налила гранёный стаканчик чего-то мутноватого прямо из эмалированного чайника, и когда я усталю спросил, что это, она ответила, мол, вино. Мы с Костей залили это в себя. Заметно полегчало. Пришлось добавить.

— Ну что, — спросила дружески всё та же тётушка, — понравилось наше винцо? Так это спирт, чаем подкрашенный!

Первые полустаканчики прокатились как по маслу. И надо же — действительно стало легче. Напиток доброжелательно успокаивал, утишал боль, заглаживал драку, и мы стали отходить, отгаивать, полегоньку закусывать.

А Клиим, успевая отвечать на яростное “Горько!”, поспеивал ещё и хвалить нас с Костей, удивлялся, как это мы вошли прямо в глотку зверя, нашли слабое место в этой глотке и позвонили в милицию.

— А те, что били их, — варвары! Причём, скорей всего, наши братовья! Охраняли ведь телефон-то, охраняли! Выходит, битва была запланированная! Решили сразу проучить! Ну, гады!

Под эти восторги, когда на нас поглядывали, о нас не только говорили, но и шептались, жизнь быстро улучшалась, боль пряталась, а дурацкое

в общем-то наше поведение началось сначала окукливаться в миф, в легенду, пусть даже для узкого круга, обещая превратиться из куколки в прекрасную бабочку странной известности.

Мы с Костей пересели рядышком, чтобы было сподручней обниматься, — два героя! — о чём-то болтали со всеми подряд, говорили Климу с Лизаветой длинные и несвязные заздравные речи с пожеланиями и, ясное дело, благодарностями. Подходили — и не раз — к зеркалам, впадали в ужас от синяков и ссадин, но со всех сторон встречали только сочувственные, благодарные, даже почтительные взгляды.

Особенно восхищённо глядела именно на меня младшая сестрёнка Елизаветы. Всё застолье как-то небрежно, даже почти неуважительно поглядывало на неё, и когда я попробовал выяснить её данные, всё та же добрая тётка ответила, махнув рукой:

— А-а, Маринка! Ласковая дурочка! Маляром-штукатуром работает, из фэзэушниц!

В скором времени я оказался пьян. Меня отвели в квартиру напротив, где на разные рулады уже храпел Костя. Чьи-то тела громоздились на полу, на ковриках и кинутых пальтецах. Битва, переходящая в праздник, закончилась грудой храпящих тел.

Где-то уже под утро я вышел в трусах на общественную лестницу, заскочил кое-куда и облегчил своё существование. Поднявшись, увидел, что дверь в соседнюю комнату приотворена. Я расширил щель и увидел, что на раскладушке лежит, распахнувшись, Маринка. Сама комнатка походила на коридорчик, да потом и оказалось, что это кухонька, а не жильё.

Вот когда вспыхивают малозначимые слова! “Ласковая дурочка”, вспомнил я, вошёл в комнатку и притворил дверь. Я прилёг к Маринке, и она воскликнула перепуганно:

— Кто это?

— Я, — только и удалось мне произнести.

Удивительно, но она вздохнула и больше не проговорила ни слова.

Нет, не мыслящий, не стремящийся к чему-то значительному, не знающий высокие стихи, не ведающий, хотя бы приблизительно, что такое экзистенциализм, а мокрый, жалкий, отчаянный, но радостно добравшийся до запретного плода щенок обретался сейчас в чужой комнатёнке, на чужой раскладушке, наслаждаясь чем-то, ему не принадлежащим. “Ласковая дурочка” не явила никакой ласки, да и почему она дурочка, я не понимал.

Потом я вышел на улицу всё в тех же трусах и майке. Чьи-то огромного размера тапки шлёпали на ногах. Я тупо двинулся к месту вчерашнего побоища. Ничто не напоминало о нём. Правда, в рассвете, наступающем всё настойчивей, промелькнула фигура, другая. Скребла метла о сухой асфальт.

Я постоял, не чувствуя, не понимая себя, не зная, что со мной произошло в последнюю половину суток.

Потом повернул, добрался до места, где по-прежнему стояли духота и храп, свалился в своё логово и проспал до обеда следующего дня. Хорошо, что это было воскресенье.

Повесть седьмая

СТАРШЕКУРСНИКИ

1

Прощаясь со мной, Хлебников сказал то, о чём я не думал.

— Нет, ты к нам не вернёшься!

Костя Немухин, бывший рядом, векинулся, готовый возражать, но подумав, вопросительно оборотился ко мне.

— Мне очень нравится, — пробормотал я, сбитый таким ходом разговора, — но я ещё ничего не знаю.

— Это правильно, — заметил суровый перестроитель, — что не знаешь. Тебе ещё рано что-то знать про себя...

Ни обниматься, ни многословить в ту пору не было принято, вечером я сел в поезд, а наутро мы встретились с Минибаем в Хабаровске, откуда, тоже к вечеру, двинулись в сторону альма-матер. Теперь мы ехали почти как буржуи — в плацкартном вагоне, две нижние полки, на которые, хоть и присаживались за пять-то дней пути верхние пассажиры, но всякий раз спросясь и оказывая нам ярко выраженное почтение.

Мы оба досыта напечатались в своих газетах, и первое время взаимно изучали творчество друг друга, обсуждая, прибавляя подробности и досказывая недописанное. И он, и я состояли на окладах, кроме гонораров-то, и это подчёркивало отношение к нам редакций, куда мы явились на практику, — вполне доброжелательное, даже симпатическое, — и карманы наши, мой — пришитый ещё бабушкой, с пуговкой для пущей сохранности кровно нажитого, — слегка топорщились, с одной стороны, намекая на пробную трудоспособность, с другой, — гарантируя слегка уверенное будущее.

Впереди лежали два курса, на которых было бы глупо сорваться на каком-нибудь истмате. Или вообще сломаться на иной ерунде. Наше будущее уже вырисовывалось, волнуя и обнадеживая.

Ясное дело, друг мой со всем вниманием выслушал историю всеобщей драки новосёлов и старожилов или наоборот, все подробности в самых мелких деталях, участь, постигшую Костю и меня как представителей общественного мнения, на которых драчуны обернули особую ярость.

Наш Хлебников раскрутил после драки целую бучу, поднял на расследование власти, милицию, провёл даже “круглый стол” в редакции — что, мол, случилось, какая такая причина для массового побоища и возможно ли повторение такого или продолжение? Ведь лагеря для зэков разного свойства продолжают освобождать.

Я сидел в уголке при этом “круглом столе”, разумеется, помалкивал, но видел, что люди из власти и милиции искренне недоумевают, хотя среди новосёлов и старожилов милиция обнаружила людей, отсидевших сроки.

Вывод был не для печати: участников массовой драки столько, что всех не посадишь. К тому же серьёзных жертв не обнаружено — только синяки да ссадины, как у нас с Костей. Ясное дело, за побоищем стоял ещё и политический фон: комсомольцы-добровольцы, едущие помогать, вдруг передрались со старожилами, строившими Комсомольск годами. Какое-то несовпадение!

Любопытно, что в уголке за редакторской спиной притулился наш ретушёр Игорь Николаевич. Я ещё, грешным делом, подумал: на него это не похоже, в его узкой комнате смиренно играла классическая музыка, утешая душу, а тут самая что ни на есть современная разборка. Но ретушёр и вынес главный приговор всему произошедшему. Как-то негромко и вроде самому себе под нос он вдруг проговорил в тишине, наставшей после долгих дебатов:

— Просто отпустило!

Все эти серьёзные люди молчали, теперь, похоже, раздумывая о глубинных, может быть, течениях вод, и Хлебников спросил:

— Ты, Игорь, подразумеваешь пушкинское? Про русский бунт, бессмысленный и беспощадный?

Ретушёр шелохнулся и ответил:

— Скорее, это похоже на медведя, который укладывается на лёжку... Ворочается, ворочается! Может и придавить!

Костя после обсуждения пожимал плечами, помыкивал, ну, и я, признаться, не достиг даже близко философической мудрости Игоря Николаевича. Да и ведь обоим нам досталось в том побоище, а это не очень располагает к стратегическим рассуждениям.

Но вот мы ехали с Дальнего Востока, и я физически отодвигался от жестокой драки, которая уже допускала и её мифологизацию, и терпеливое возвращение к бессмысленности и бесцельности драки стенка на стенку, вообще-то исторической по своей форме — так дрались молодые мужики даже с двух краёв одной деревни, о чём мы почему-то хорошо знали, и я, неторопливо обсуждая с Минибаем одну из страничек собственной биографии,

всё больше и больше соглашался с ретушёром, который ведь и за политику пострадал, и золото мыл, и в драках, поди-ка, по молодости участвовал. А может, этот многострадальный ретушёр, нахлебавшись вдосталь, просто ретушировал целую эпоху?

Получалось, что беспричинность мордобоя, ненависти, даже, лютости у русских проходит и отлетает так же бессознательно и легко, как приступы доброты и самопожертвования, думал я своим незрелым умом, что и поспешил выразить словами.

Минибай не согласился:

— Это отрывка! От какого-то страшного обжорства! Это отместка за великую обиду! И, может, отместка самим себе!

2

Трижды в день — поутру, в обед и вечером, — как вполне состоятельные граждане, мы ходили в вагон-ресторан, официантки которого дружелюбно нам улыбались, назубок выучили наш обеденный спрос — оливье, солёнка и бифштекс с яйцом, — что ещё долгие и долгие годы будет нашей незабвенной триадой, даже во взрослые лета, и к ним — в обед-то! — добавлялись славные сто граммов белокурой да бутылочка “Жигулевского”.

Всё это позволяло обедать долго, неспешно, обсуждая окружающую действительность и рассуждая на темы, нам неподвластные, как это часто случается с русским подростом.

Впрочем, политику мы обходили, да и что нам за дело было до Молотова, Маленкова и “примкнувшего к ним” бывшего комсомольского секретаря Шипилова. Там, в высотах, совершенно недоступных, что-то шуршало, разоблачалось и отваливалось, и в этих событиях ближе иного казались предметы, о которых прежде судить нам не приходилось.

Например, вдруг оказалось, что в державных облаках царствует разврат. Вдруг выяснилось, что создатель “Биографии И. В. Сталина” по фамилии Александров, академик и министр культуры целой страны, устроил бардачок с самыми чудесными красотками театра и кино, в которых мы были влюблены. Грязь пролилась, министра сняли и отправили из столицы с глаз долой. А к нам, в столицу Урала, для перевоспитания, наверное, отправили его соратника по разврату, члена-корреспондента Академии всех наук Кружкова. И в качестве — кто бы мог такое выдумать? — главного редактора славной уральской газеты, а по совместительству профессора марксизма-ленинизма. И где? На нашем собственном факультете.

Подвыпив и влюбленно глядяваясь в пейзажи чудесной страны, крутящиеся за окном, точно гигантская граммофонная пластинка, мы с Минибаем на все лады спрягали научные достоинства сосланца из московских далей, вышучивая и его членство, а также корреспондентство, раз уж он стал редактором и обучал марксизму газетчиков.

В этом лёгком полуподпитии я болтнул милой официантке на её вопрос, кто мы такие и куда отправляемся, что перед ней ни кто иные, а золотоискатели! История ретушёра не оставляла меня в покое. Минибай тут же меня оборвал, чуточку приобидев:

— Да он шутит! Мы — бедные студенты! С практики едем!

Официантка поморгала, отошла, а я заметил:

— Разве вредно — малость приврать?

— Дорога дальняя, — ответил друг, — я тут интервью брал! С начальником железнодорожных милиционеров! Хоть за детектив садись, что на дорогах творится! А ты! Золотоискатель! Задницу прочистят!

— Как это? — не понял я.

— Знаешь, как золото с севера вывозят? Правда, бабы. У мужиков хуже получается.

Я не знал.

— В презервативах! Которые, сам знаешь, куда засовывают!

Я ахнул. Что-то ретушёр мне про такое не рассказывал. А Минибай знал и не врал, похоже, да и зачем ему врать, если ещё и знает всякие подробности.

— Этим заняты воры в законе, — пояснил он. — И какие-то банды с юга! Мы, братец, и представить не можем, что происходит в той, подпольной жизни!

Но это всё были мысленные, так сказать, утверждения. Лишние знания, которых, в общем, оказывалось чересчур много — так много, что они складывались в другую, параллельную жизнь. Вот мы сидим в ресторане, а наши чемоданы запросто могут обшмонать расторопные ребята, да так, что никто ничего и не заметит. Даже из вполне доброжелательных соседей. Поэтому девиз “Всё своё ношу с собой”, внушённый мне ещё моей бабушкой, пришитый внутренний карман, был разумной народной мудростью. У Минибая имелся похожий. А про золотиискательство и шутить оказывалось опасным в те времена, только начинавшие освобождаться от страхов.

Ещё с вокзала в Хабаровске мы, узнав, когда проезжаем Красноярск, дали телеграмму Джурке. А и вспомнили о депеше-то только при подъезде.

Но на вокзале у проходящего поезда толкалось человек пять-шесть, и Джурки не было. Мы вышли на перрон.

И тут — о, Боже! — я увидел Джуркину мать! Я же видел её, когда она приезжала, а Минибай — нет. И вот она шла ко мне, не очень молодая, обыкновенная, круглолицая и доброжелательно улыбающаяся. Он неожиданности я растерялся. Минибай толкался рядом, совершенно не понимая, что происходит. А я начисто забыл, как её зовут. Но она пришла на выручку.

— Здравствуйте, ребятки! Я вас узнала! Джурик улетел самолётом, и я, получив телеграмму, решила вас встретить.

И протянула нам две тряпичные сумочки.

— Там еда, ничего особенного! Покушайте в дороге!

Больше говорить было не о чем. Джурка ведь сначала остался на старой частной квартире, когда я съехал в общежитие, и наши отношения, естественно, изменились. Теперь на троллейбусном буфере мы висели вместе с Минибаем. После Джуркиного покаяния вроде всё утихло, его окучивала профессорская дочка Алёна Грачёва, а он и вовсе переехал на другую квартиру и жил в комнате с Толей Пудолем. Поближе, видать, к газетным делам. Все эти передвижения создавали новую географию его жизни, несколько отличную от нашей, и мы не то, чтобы отдалились, но...

После лекций мы сбивались в привычных аудиториях, ели у тёти Дуся и снова оставались с книгами на утретых местах, а местные, здешние, городские удалялись восвояси. И как-то незаметно к ним примкнул Джурка.

Такая вот складывалась рекогносцировка перед прощальной фразой Джуркиной матери. Поезд тихо тронулся, мы стояли в тамбуре, и она сказала нам совсем негромко:

— А Джурик с Алёной решили расписаться! Скоро увидимся!

Вот это был удар по нашим наивным ушам!

Ведь даже и переспросить-то нельзя: поезд набирает ход, а женщина, сообщившая новость, остаётся за пределами дверного проёма.

Последнее, что, наверное, увидела она, были наши округлившиеся глаза.

3

Та осень была благоуханна и светла!

Время от времени, изменяя тетё Дуся, мы ходили полопать в Дом крестьянина, где действовала столовая же, но чуть попримичнее, чем студенческое спасалище. Там, например, подавали “чай парами”, — оказалось, не стаканами, а целыми чайничками, по-купечески. После обеда мы переходили трамвайные пути прямо напротив столовой и забредали в аллеи знаменитого дендрария.

Вот там, на широченных скамейках, похожих на вокзальные, нас тихо, без всякого предупреждения, постигала хоть и краткая, но благодать. Мы съездили в неизвестные прежде края, приспособились там и даже оказались чуточку нужны; вернувшись, защитили практику на пятёрки, и про нас покатила хлипенькая, но положительная молва: эти парни не пропадут.

В дендрарии мы ни слова, пожалуйста, не проговорили о будущем, но, похоже, оно развиднелось, будто тропка освободилась от тумана, и стало ясней, куда ступать дальше.

Минибай свой путь видел очевидней, чем я, и ни о чём другом, кроме Хабаровска, не желал слышать. Он благоразумно не утратил связь с газетой, где практиковался, съездил туда ещё раз, а потом уехал навсегда. Я же обладал страховкой от самого Леонида Демидовича, которого у меня дома из молодёжки перевели в главную газету.

Чуть позже, на октябрьские, я сгонял к родителям, отдал заработанные деньги, и за пять дней мне сшили первый в жизни костюм — тогда же костюмы в магазинах не продавались! Был этот мой первенец хорош, до полного восторга окружающих и моего собственного: коричневый, в тонкую светловатую полоску, да ещё и раскроил его мой собственный дедушка, который хоть и слыл скорняком, шил меховые шубы для армии, работал на шубно-овчинном комбинате, но оказался и опытным закройщиком широких умений: самолично измерил меня сантиметром, раскроил материю, а потом примеривал и строжился, осаживая хоть и немолодых, но всё же, видать, не таких опытных, как он сам, женщин из швейной мастерской.

Этот-то костюмчик я и обновил, явившись к Леониду Демидовичу, который тут же потребовал отчёта, а услышав, что я прошёл практику в промышленном отделе, да ещё и в Комсомольске-на-Амуре, прямо-таки заволновался:

— Ну, ты помнишь наш уговор?

Я, конечно, помнил.

— Смотри! — ходил он передо мной. — Пришлём вызов!

— Шаг вправо, шаг влево! — пошутил я.

Он остановился, погрозил пальцем:

— Ты же у нас вырос, молодой человек!

Странное дело, я не чувствовал себя молодым человеком. Пацан, конечно! Студяга — в самый раз! Даже молокосос — приемлемо, если употребить это слово дружески. Но “молодой человек”?

Одним словом, редактор молодёжной газеты, благословлявший меня учиться, теперь разговаривал со мной, как со взрослым во взрослой редакции, а я, получалось, оказывался застрахованным, и мне не требовалось искать работу в иных краях. Хотя что-то свербило в душе. Хотелось попробовать неведанного.

Тем временем Джурка сыграл свадьбу с Алёной Грачёвой. Русоволосая, с чуть припухшими губами и сияющими глазами, Алёна в образе невесты была хороша и радостна, а Скок чего-то стеснялся, оказался угловат и немногословен. Свадьбу играли в профессорской квартире, так что студентов позвали немного, самых близких, в число коих вошли и мы с Минибаем.

— Ну, всё! — сказал он при подходе к дому, где теперь должен был обитать Джурка. — Вот он и распределился!

На свадьбе мы, конечно, увидели Джуркину мать и его отца-геолога, теперь уже в полной близости и удовольствии. С их стороны, конечно. Про нашу сторону говорить пока не приходилось. Мы просто плыли по течению, и вот одного из нас вытащили багром за шиворот и поставили на берег: живи, как взрослый. Но это ведь ещё вопрос, что лучше: плыть по течению, если, конечно, не тонешь, или стоять на берегу, не зная, куда идти.

В общем, мы гульнули, выразили пожелания, поплыли дальше, и тут началось. То на старших курсах, — а старшим был только пятый, и это хотя бы понятно, — то на младших стали фейерверками взрываться свадьбы.

Ещё один взрыв послышался совсем поблизости. На этаж ниже в нашем общежитии проживала Муза Воробёва с нашего курса. Была она не фигуриста, тощевата, блондиниста, светлоглаза и длинноноса. Правда, ещё говорлива, активна, настойчива до настырности. Ничего не пропускала, чтобы громко не обсудить. Ну, бывают такие активные натуры. Сочинительством и публикациями Муза не блистала, зато не пропускала ни одного высказывания, чтобы не выразить замечания. Потом из неё выйдет замечательный редактор. Хотя, как известно, всякая замечательность относительна.

Обособенно часто Муза повторяла гуманистическую мысль, что каждый человек — хозяин своей судьбы. При этом взглядом она обладала беспокойным. Быстро, но внимательно оглядывала людей, будто кого-то отыскивая, отбирая, сортируя. На всех близких ей сокурсников она взглядывала мимоулетно, без всякого интереса, и даже без расспросов было ясно, что она не может иметь к нам никакого интереса. Как, впрочем, и мы к ней.

И вдруг кто-то сообщает, что Муза выходит замуж, присмотрев парня с физмата, свадьба будет прямо в общежитической комнате, где она проживает вместе с ещё пятью девчонками, и теперь все они, сбросившись, строгуют тазик винегрета — по причине бедности как невесты, так и жениха.

Комната, хоть и рассчитанная на шесть железных коек, вроде нашей, вместить много гостей не могла, поэтому Муза поставила дело так: группа из трёх-четырёх человек заходила, чокалась гранёными стаканами, в которых продукт чуть взблескивал на самом дне, желала счастья и тотчас выходила, закусив винегретом. Жених наивно, но радостно взирал на входящих, глаза его невинно круглели, и он потихоньку поднавливался. Но Муза управляла всем, и процесс шёл ходко.

Подруги по комнате распределились на первую ночь, кто как мог, предоставив пространство для радости молодожёнов, но после второй ночи общага наполнилась слухом, распространившимся самым стремительным образом. Муза и её суженый к односпальной железной койке приторочили нечто вроде полога из сдвоенной простыни, купленной на рынке и сшитой воедино. Большой размером муж Музы приходил с учёбы и весь вечер проводил в беседах с Музой в женской комнате, при знакомых, но ведь посторонних же девицах, а к ночи залезал под полог, снимал там рубаху, штаны, и Муза вешала всё это в общий шкаф вместе с платьями своих подруг.

Далее они укладывались в своё гнездышко, укрытое от нескромных взоров, и утихали.

В первую коллективную ночь девчонки, не посмеявшие возразить, кое-как задремали, уговорив, наверное, себя, что ничего страшного не случится, эдят же люди, раздеваясь, в купейных вагонах, но к утру очнулись от дикого скрежета и стопа. Муза стенала, как гиена, впрочем, голосов гиен мы в ту пору ещё не слыхивали, а сетка кровати скрежетала, испытывая самое тяжёлое давление на всю свою железную жизнь.

Ходили слухи, что все девчонки выскочили из комнаты в ночных рубахах, потом где-то прикорнули, а утром пошли в атаку на Музу. Не тут-то было! На все претензии она укоряла подруг в безответственности и эгоизме: у них бедная, истинно студенческая семья, и денег, чтобы снять где-то комнату, даже быть не может. А потом покрывла все сомнения последним аргументом: и у Музы, и у её мужа погибли на войне отцы, так что общежитие им полагается по закону! Против такого аргумента переть было невозможно. И выхода из положения никто не знал.

Дело кончилось умиротворением, довольно, кстати, простецким. Сперва девчонки договорились с Музой, что они с мужем будут делать свои дела до восьми вечера, пока не закрывалась читалка. А ночью станут вести себя спокойно. Молодой муж укротил свою плоть, но возвращаться по старому месту жительство не желал. Очень скоро Муза забеременела. Похоже, она достигла искомого и тут же отлучила муженька от бранных подвигов. Ему пришлось возвратиться на своё место, пока она не родила. А из роддома их устроили в какой-то комнате по линии профсоюзам. Собственным разумом Муза, считающая, что судьба человека в его собственных руках, вытащила себя, дитя и мужа из реки, по течению которой мы продолжали плыть.

Как и Джурка, выбралась на берег, во взрослую жизнь.

Той же осенью нам довелось взглядеться в лицо развратной власти, но так ничего и не разглядеть.

Какую-то обзорную лекцию по развитию марксистской мысли нам соби-рался прочитать тот самый Кружков, друг автора биографии Сталина, а в те

времени профессор отделения журналистики и главный редактор, повторюсь, самой важной уральской газеты. Своей потаённой славой он, похоже, был овеян со всех сторон, если даже малознакомые исторички и филологички ужали нас в аудитории, назначенной для его речи. И глаза у них горели. Слухи о лекции недонаказанного распутника разошлись широкими кругами, как будто кто-то бросал в воду не камушки, а булыжники.

В конце концов, на кафедру взойёл человек с лицом, похожим на каменную маску — грубоотёсанным и мясистым. Пока он говорил, ничто не дрогнуло в нём, разве что взгляд изредка отрывался от бумажки, спрятанной бордюром кафедры, устремлялся вперёд, но не останавливался при этом ни на одном слушателе. Будь пустой эта аудитория, он и тогда исполнил бы это всё тем же безразличным к словам и их содержанию баритоном. Ровное, равнодушное, безразличное произношение обезличенного текста, может, даже и написанного кем-то другим.

И при этом он же был редактором огромной газеты! Мне пришло в голову идиотское сравнение: а Хлебников, например, смог бы оказаться на этой кафедре и ворочать языком камни официальных слов? Да пусть даже и самые размарксистские, но вот так равномерно, пустоголовос, неэмоционально? Ведь такое не позволила бы ему просто его судьба! Там и жар, и пыл, и ругань! Да всё, кроме пустынной геометрической плоскости.

Прозвенел звонок, и лектор торопливо исчез, едва ли не сбежал, но ему предстоял ещё один академический час, и аудитория слабо загудела. Джурка с Алёной сидели впереди и, оборачиваясь к нам, улыбались, пожимали плечами. Но громче всех вела себя Муза Воробьёва. Она зачем-то волновалась шумней всех: крутилась, качала головой, что-то почти неслышно шептала.

Лектор вернулся и вынужден был пару раз прокашляться, таким образом призывая зал к вниманию. Через полчаса, резко оборвав свою речь, как оказалось, закончив её, он сухо спросил:

— Вопросы?

Вскинулась Алёна, Джуркина жена и дочка профессора. Зачем только это?

— А вы лично имели отношение к биографии товарища Сталина?

Аудитория притихла.

— К биографии товарища Сталина имел и имеет отношение Александр Георгиевич Фёдорович, — всё тем же равнодушным тоном произнёс лектор. И добавил: — Это действующий и признанный труд, он имеется во всех библиотеках.

— А с Александровым у вас были отношения? — выкрикнул чей-то резкий мальчишечий голос, и я узнал Вовку Потникова.

Все снова притихли, сразу уразумев, какой запретный смысл вопрошающий вложил в слово “отношения”. Но каменная маска оказалась непробиваемой.

— Александров, — ответил он равнодушно, — действительный член Академии наук, а я член-корреспондент. Таким образом, мы работаем в одной академии.

Он подчеркнул это слово — *работаем*, — и Алёна потом ещё долго разъясняла нам, что все эти академики избираются пожизненно, и что бы с ними ни случилось, откуда бы их ни выгоняли, даже из министров, их академические звания неприкасаемы.

Но тогда взорвалась Муза Воробьёва. Она вскочила и громогласно воскликнула:

— А как марксизм-ленинизм относится к экзистенциализму? Не есть ли это дружественная марксизму идея? Ведь Жан Поль Сартр утверждает, что человек есть лишь то, что он сам из себя делает. Человек есть не что иное, как осуществление самого себя. И существует лишь настолько, насколько сам себя осуществляет! Разве это не согласуется с марксизмом?

Аудитория наша словно подавилась. Мухи бились в окне — ведь стояла ещё осень, и их жужжание подчёркивало тишину. Чего мы ждали? Ведь мы набились тут для зрелища, для того, чтобы воочию увидеть чей-то срам — как хоть он выглядит-то? Тайно ждали провала, но какой-токой провал?

Разве забубённая лекция может оказаться провалом? У профессора есть текст, с которым легко ознакомиться, и всякий спец по политическим наукам подтвердит его праведность. Исполнение? Но здесь не эстрада, а студенческая аудитория.

И тут занудный грешник, будто учуяв витающие под потолком недоумения, словно перевернулся.

— Сартр, милая девушка, — проговорил членкор неожиданно подобревшим голосом, — утверждает также, что человек ответственен не только за себя, он отвечает за всех людей.

Наконец-то он поглядел на нас с интересом. Даже крикнул.

— Но это, — сказал он Музе, — уже глубины философской теории. Если интересно, заходите ко мне в редакцию, поговорим. Но только организованно, через кафедру.

Вот те и на! Мы пришли на спектакль, да он и произошёл, но в конце услышали человеческие слова. А это всегда сбивает с толку. Когда народ стал вслед за лектором выходить из аудитории, Муза улыбалась и повторяла:

— А что? Я пойду. Значит, он не такой ретроград, раз про Сартра знает! — Теперь всем ясно, кто ты такая, — заметил Музе Минибай. — Экзистенциалистка! А не просто...

— Конечно, не просто! — смеялась она. — Марксистка-экзистенциалистка.

И Музка действительно оказалась хозяйкой своей судьбы. Как потом узналось, в какой-то миг, не афишируя этого, она заявила к грешному марксисту — он же главный редактор. Её приняли, и постепенно она заняла своё твёрдое и надёжное место в жизни: стала штатным корректором, о котором не забыли. И со временем перевели в газетный штаб — заместительницей ответственного секретаря.

5

Однажды поутру, дело было в воскресенье, потому что мы ещё не жились на своих железных койках под суконными общежитскими одеялами, в соседней комнате раздался странный грохот. И громкое пенье с надрывом:

*О, дайте, дайте мне свободу,
Я свой позор сумею искупить.
Снесу я честь свою и славу,
Я Русь от недруга спасу!*

Вовка Потников поставил диагноз:

— Бородин, “Князь Игорь”!

Снова за стеной что-то непонятное грохнуло, хоть ведь не было там никаких тяжёлых вещей, наотмашь хлопнула дверь и кто-то благим матом заорал в коридоре.

В чём были — в трусах и майках — мы выскочили наружу, но крику на не застали — он уже скатывался по лестнице, тоже только в исподнем, и кричал непрерывно:

— Скорую! Скорую!

Когда мы целой толпой — шесть-то человек! — втиснулись к соседям, там, похоже, настало короткое равноденствие. Но пейзаж выглядел непривычно: двое наших соседей стояли на койках, двое жались к стенам, ещё один сидел, опустив голову, а кровать посередине была перевёрнута с ног на голову.

Тот, кто сидел, опустив голову, встряхнулся, и мы увидели, что это Венька Северов. Был такой у нас такой пацан из Омска родом. Он всегда держался в сторонке, никогда нигуда не лез, не болтал, только смеялся случайно услышанным островам, которыми полна студенческая житуха, но сам острить не решался. Ходил всегда с виноватой отчего-то улыбкой, обращённой ко всем и каждому. А тут я не узнал его. Да и все мы были поражены. Лицо будто заледенело, и взгляд устремлялся мимо нас и даже сквозь стены

на что-то, пугающее Веньку. Тогда слово “мистика” в обороте отсутствовало, но было легко представить, что Венька видит иное, нежели мы, и это иное его страшит, но он готов от него обороняться.

Совсем неожиданно, неподходяще, он запел жалостным голосом, почему-то обращаясь к вбежавшим:

*Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлёт отрады и забвенья.
Всё прошлое я вновь переживаю
Один в тиши ночей...*

Голоса у него не было, он скорее декламировал, а не пел, да и слова как-то отрывал друг от друга, расставлял между ними восклицательные знаки. И весь его речитатив звучал беспомощно, безнадежно.

Без всякого перехода от жалкой интонации, Венька вдруг взрычал, вскочил на ноги, ухватился за кровать, уже перевернутую, легко, даже играючи, скинул её ввысь и снова с грохотом обрушил на пол. Мы прижались — кто к стене, кто к шкафу, а кто-то выпрыгнул в коридор. Лицо Веньки побледнело, даже слегка поголубело, а по краям губ выступила пена.

— Веня! — уговаривал его комсорг Минибай, робко пытаясь приблизиться. — Что с тобой! Успокойся! Не волнуйся! Сейчас всё пройдёт!

Уговаривающий говорил искренне, трогал, хоть и опасно, Веньку за плечо, за майку и стоял прямо перед ним на площадке, возникшей на месте кровати.

И тут разыгралась ещё одна, не к месту смешная сцена. В коридоре слышался топот, дверь распахнулась и в неё колом вкатился доктор Айболит! Прямо из книжки Чуковского! Невысокий, плотный, пожилой, в белом халате и шапочке, — правда, без красного креста на ней, — розовый и с пушистыми белыми усами, торчащими в стороны.

Он слишком быстро огляделся, и в этой мизансцене, замершей почти по “Ревизору”, неправильно обнаружил нарушителя спокойствия. Им он признал Минибая. Тот же был, ну, конечно, в трусах, во-вторых, уговаривая Веньку, приблизился к нему и стоял на пустой части комнаты, где лежала кинутая на попу кровать. В-третьих, он и так-то всегда таращил нерусские глаза в мгновения беспокойства, а в тот момент стоял с глазами просто выпученными. Вот Айболит и двинулся к нему, спросив сначала, как зовут больного.

— Веня, Веня, — приговаривал доктор, приближаясь к Минибаю.

— Да это не я, — филологически не очень удачно отмахнулся тот.

— Не ты, не ты! — уговаривал доктор и даже взял его за руку.

— Я не Веня, доктор, — на сей раз отчетливо проговорил Минибай, и мы дружно подтвердили ошибку Айболита. Он повернулся к Веньке, который опять сидел на своей кровати.

— Веня, Веня! — будто готовясь посыпать зёрнышек этому птенцу, позвал его Айболит.

И тут Венька захохотал. И тут Венька вскочил. И здесь Венька схватил обеими руками Айболита за его прекрасные и сказочные усы своими немытыми руками. Доктор закричал отчего-то тоненьким голоском.

Но старичок Айболит явился, конечно же, не один. За спиной у него топтались два гориллообразных бугая с длинными, кажется, даже ниже колен ручищами. Они, не издав ни звука, кинулись на защиту доктора, но оторвать руки Веньки от серебристых усов было не так-то просто. А князь Игорь опять запел, выкрикивая слова:

*О дайте! Дайте! Мне свободу!
Я свой! Позор! Сумею! Искупить!..*

Мы увидели, как одна горилла укусила Веньку за руку и только так спасла один докторов ус. Второй амбал выкручивал другую руку Веньки, а тот хохотал, закатывая глаза под лоб, и держал доктора железной хваткой, докрикивая свою арию:

Наконец, горилла пхнула Веньку в живот коленом, тот сложился вдвое, и кулак всё-таки разжал. Мы оттащили доктора в угол.

Однако Айболит был опытный врачеватель. Какими-то отрывистыми фразами он подал приказы, в результате которых с трудом и, увы, с нашей многорукой помощью амбалы натянули на Веньку хламиду с длиннющими рукавами, переходящими, оказалось, в ремни, обернули этими ремнями его тело в несколько оборотов, связав таким способом и руки, и ноги. Нам же, — как были, в трусах, — пришлось скатиться с четвёртого этажа, едва удерживая беснующееся тело, и загрузить его в небольшой медицинский автобус, кажется, ещё довоенного образца. Венька дрыгался, орал бессвязно, даже бессловно, — ни одной фразы я не уловил больше в этом вопле, — пока доктор не открыл блестящую железную коробочку и не вкатил Веньку укол прямо куда-то за ухо. Тот стих. Нет, он не уснул, он глядел на нас расширенными зрачками, пена текла с подбородка, но он замолчал, заледенел.

Доктор потребовал сопровождения больного, сказал, что ему нужен хотя бы его паспорт, да и вообще не грех проводить человека не куда-нибудь, а на “Белую дачу”. Это название изредка витало вокруг нас и означало сумасшедший дом, но, употреблённое доктором, ошарашило всех.

— Доктор! — спросил я. — Он сошёл с ума?

— Ну, не совсем! — невесело ответил Айболит, поглаживая усы, которым, конечно же, досталось. — Приступ шизофрении, судя по всему. Специалисты скажут. Поторошитесь!

У Веньки в городе никого не было, кроме нас, однокурсников, а из них, получалось, отвечал за всё комсорг — кто же ещё? Минибай. Ну, по дружбе и я вызвался участвовать в этой малооптимистичной поездке. В автобусе отчего-то оказался и молчаливый Генка Шидрин.

Спелёнутый Веня лежал неподвижно, как бревно, автобусик трясло на колдобинах, потом дорога стала ровнее, и, глянув в окно, мы увидели лес — значит, оказались за городом.

В больнице, состоявшей из множества одноэтажных барачков, окружённых необычно высоким забором, ничего особенно не произошло. Веньку переложили на носилки и унесли, нас завели в приёмный покой и поначалу приняли за родственников. Однако, когда выяснили, что мы товарищи по общежитию, смягчились. Доктор Айболит сразу уехал, а нас расспрашивали две очень ласковые пожилые женщины, похожие на наших матушек, и, быстро записав Венькины паспортные данные, телефон общежития и адрес, они принялись выспрашивать подробности.

Вот как можно укорить людей! Начни подробно и непременно по-доброму выспрашивать, что ты знаешь о другом человеке, даже однокурснике, даже из соседней комнаты в общежитии — и всё! Ну, студент, ну, улыбался какой-то искательной улыбкой. Стеснялся сесть за один стол на обеде у тёти Дуси, и неизвестно даже, пользовался ли её кредитом... И о родителях его ничего не ясно, и как он практику прошёл, куда ездил... А чем увлекался? Что читал?

Мы с Минибаем сидели, опустив голову, и в приёмном покое уже начала висеть неловкая тишина, как вдруг горло прочистил сдержанный Генка Шидрин.

— Мы вчера с ним, — будто грохот раздался, — были в театре.

И я, и Минибай воззрились на Генку, ещё ничего не понимая.

— Что смотрели? — ласково подтолкнула одна из женщин.

— “Князя Игоря”! — кивнул он и вдруг сообщил невероятное: — Но мы не смотрели. Мы играли...

У всех глаза на лоб полезли, даже у этих милых женщин в белых халатах.

— Понимаете, — покраснел Генка, — в каждом спектакле есть миманс. Артисты тут не требуются. Просто разных людей одевают в костюмы, и они стоят, толпой, например! Кричат, когда скажут! Ходят, куда укажут. Всякие студенты, домохозяйки! А после спектакля этой толпе выдают деньги. Вот мы вчера с Веней были в войске князя Игоря. Получили по четвертной.

Мы слушали его, обалдевая. Ведь это же всё из рекомендаций Бовы!

— Может, он так перевоплотился, что никак обратно выбраться не может? — спросил я не то Генку, не то врачей.

— Да нет, — ответила одна, поправляя свои очки. — Такое может произойти по самым разным причинам.

— И он, — попробовал пояснить Генка, — на обратном пути пел арию князя Игоря. Хотя мы были только воинами. И деньги он порвал! В мелкие-мелкие кусочки!

Вот эта деталь нас добила. Так оно и есть, думал я. Войдя в оперу, человек не смог из неё выбраться.

— Ведь он бедно жил! — воскликнул Минибай.

— Ну да, — подтвердил Шидрин. — И этот четвертак был нужен ему до зарезу.

С тётьеньками, смотревшими на Венину болезнь другими глазами, мы расстались, отправились на электричке в сторону родного города. По пути без конца поминали лекцию искусствоведа Помяновского про сто способов заработать деньги. Это ведь он расхаживал павлином перед рядами недождавших студентов, — если бы не тётя Дуся! — и поучал, что можно читать лекции от общества “Знание” в рабочих аудиториях по пятнадцать рублей штука и что можно работать по вечерам в этом самом театральном мимансе, когда одетые в чужие костюмы граждане ходят, кивают, улыбаются, изображая толпу, служанок, лакеев, а иногда и воинов, как в “Князе Игоре”, и вот — один воин попался. Зашёл и не вышел!

Я настаивал на этой мистической версии, где человек не зависит сам от себя, но Минибай, прагматик по общественной должности, и Генка, похоже, просто отпетый реалист, со мной не соглашались. И так мы проспорили до самой общаги, потом зашли в комнату, где утром сошёл с ума Венька, и молча, словно на кладбище, постояли перед его железной кроватью, заправленной досрочно свежим бельём и ожидающей — то ли возвращения прежнего, то ли прихода нового жильца.

Вечером наша комната долго не могла уснуть. Вовка Потников показывал всем открытки Иеронима Босха и утверждал, что на них изображено наше будущее и прошлое, увиденное сумасшедшим гением. Вообще, гениальность — это сумасшествие, утверждал он.

— Так что наш Веня — кто ещё знает! — говорил Минибай. Но мы тут же ржали, вспоминая, как Айболит принял за сумасшедшего именно его с вытаращенными глазами и в одних трусах, даже без майки. Минибай спал всегда без неё.

Но, может, это молодость так устроена? Фыркать сразу после бедствия, не сочувствовать доктору, похожему на Айболита, а смеяться над его оплошностью? Мы хохотали до позднего часа — то ли над собой, то ли над миром, дверь в который мы только ещё приоткрывали.

А в результате ещё один сподвижник выбрался на берег реки, по которой нас несло.

6

И тут врывается любовь! Или это только казалось, что любовь? В те поры такими словами не баловались попусту, не трепали их языком, не судили на лавочках и в трамваях, не спекулировали при народе. Любовь к Родине — это пожалуйста! Любовь ещё к родному городу, любимому университету и почтенному предмету, да и вообще ко всему неодушевлённому — сколько угодно и в любом количестве. Но если это чувство коснулось тебя, приснилось тебе, подошло поближе и с надеждой улыбнулось — не торопись даже шёпотом произносить это драгоценное слово, обойдись чем-нибудь простеньким: проводить, прогуляться, сходить в кино, посидеть на лавочке и снова, снова проводить до подъезда, чтобы потом догонять последний трамвай и вскакивать на его подножку, глядеть невидящим взглядом в темноту, глупо улыбаться неизвестно чему, а потом опрокидываться в сон, как тёмную, давно ждущую тебя речку...

Ухаживать? Это словечко для взрослых и бывалых. Гулять? Слишком легкомысленно. Дружить? Слишком формально.

Встречаться? Может, и не очень полноценный, но всё же допустимый оборот. Ведь он полегоньку означает и то, и другое, и третье, сливаясь в бесконечный разговор, в бесцельные прогулки, в узнавание другого существа, которое может, при разных обстоятельствах, стать частью твоего мира или даже твоим миром до самого конца.

Но ведь встречи могут развернуться в повторение, в усталость, наконец, в необязательность, отступление, в нежелание продолжения.

Сформулирую то, что, скорей всего, не окажется понятным. Тогда к близости шли через неловкость и стену преодоления, через совесть и отторжение. Боюсь, мы были последними осколками чистого ледника, где любовь требовала взаимности, долготерпения и чести. Уже сразу за нами следующие курсы крошились и таяли, упиваясь студенческой вольницей. И ломая самих себя.

Свобода близости сперва прекрасна, и сразу — обманчива. Поверхностная вседозволенность почти обязательно отольётся болью. Чаще всего — пожизненной.

Но к этому надо прийти. А чтобы прийти, следует двигаться.

Нужно ли ещё заметить, что нас что-то сдерживало? И довольно крепко. И вовсе не родительская, допустим, строгость, не власть, способная не понять, а помешать.

Останавливала, я полагаю, собственная опаска или предосторожность, включающая в себя самое трудное — незнание себя. Недоверие к себе и своим решениям. Негарантированность собственных чувств.

Об этом не говорилось. Об этом думалось.

7

Мы с Минибаем двигались к тёте Дусе после лекций, широкая университетская лестница сияла приподальным осенним сиянием, наверное, солнце-то и оказалось во всём виноватым.

Итак, мы шли из тени к свету, спускались с верхнего этажа вниз, и на площадке между лестниц, точнее, на первой ступеньке, идущей с площадки, вдруг возникли две девушки. Они были в приподало лёгких летних платьях отчего-то, и солнце их предательски, а может, с любовью, осветило со спины, и всё их тайное высветило, как рентген, представив нашим бесстыдным взорам, явив их образцовую стройность и юность. Мы, конечно, не споткнулись, не остановились, но вонзились взорами в эти идеальные силуэты, потом, по мере сближения, перевели глаза на лица, и оба восхитились — интеллигентными, доброжелательными, просветлёнными ликами двух никогда прежде не виданных существ: одна была блондинкой, как принято в классической литературе, другая — брюнеткой.

В те времена не было принято раскланиваться с незнакомыми людьми, да и сейчас такое доброжелательство выдает лишь человеческую нездешность, так что мы целомудренно разошлись тогда на лестнице. Девушки улыбались нам, а мы, разумеется, им, и что касается нас, то мы еще и разглядывали эту красоту во все шары, но молча! Нет, чтоб поздороваться! Поклониться! Спросить не самое уж глупое — откуда, мол, вы возникли, не из волшебной ли лампы Алладина, да и куда движетесь в здании, где мы обретаемся аж четвёртый год?

Но робко отулыбавшись, мы миновали друг друга и только в столовке, пробив чеки и поставив перед собой привычную еду, взаимно удивились:

— Вот это да!

Расспрашивать, кто это и откуда, было не у кого — свидетелей случайного пересечения улыбок не существовало, и мы были вынуждены просто законсервировать свои впечатления до будущего.

Как оказалось, скорого.

Наехал какой-то праздник, в спортзал нашего здания танцевать не пускали, поэтому площадкой стал конец широченного коридора, на подоконни-

ке которого установили драгоценный проигрыватель, и ответственный, чаще всего, ответственная, просто меняла пластинки, обеспечивая определённый ритм начинающихся и продолжающихся знакомств и оболщений.

Там мы снова увидели этих блистательниц, только вот всерьёз занятых другими. Блондинку старался прижать к себе длинный баскетболист по фамилии Вайншток, естественно, черногривый и непонятно отчего прославленный, но она, как я заметил, упиралась, сопротивляясь. Брюнетку же водил коротко стриженный волейболист неизвестного мне имени, и невооружённому глазом было понятно, что и он клонит партнёршу к наглому физическому приближению. Парни относились к разряду пятикурсников, почти взрослых мужиков, и наш интерес горестно опал. Да ещё я спустился в туалет на другом этаже, и у такого же подоконника, как наверху, где шли танцы, увидел длинного Вайнштока, склонившегося над блондинкой в позе коршуна: спиной он отгораживал коридор, и опущенной головой с крючковатым носом будто поклёвывал свою жертву, а та, что любопытно, не вырывалась, не стремилась сбегать, а что-то быстро говорила и по сторонам, а значит, на меня, не глядела. Я прошёл по своим делам, а когда почти тут же возвратился, ни коршуна с его клювом, ни жертвы его не было.

Что-то во мне опустилось. Или, напротив, поднялось. Какая-то обида, чувство поражения, непоправимая досада. Я поднялся к танцующим, но не нашёл у стенки скучающего Минибая. Чертыхнулся было: мол, куда его нелёгкая носит. И тут же обомлел: мой друг танцевал сладострастное танго с другой, со второй, улыбаясь до ушей, а когда повернул партнёршу ко мне спиной, одним глазом ехидно подмигнул мне. Впрочем, может, там и не предполагалось никакого ехидства, а одно лишь дружественное успокоение?

Всё развивалось стремительно, как вспышка молнии, может быть.

Минибай ещё отводил свою страсть к противоположной стенке после танго, как объявили белый вальс, и что касалось друга, тут сомнений не возникало, что напарница его немедленно и пригласит, ясное дело. Но вот возле моего уха, откуда-то сбоку, вдруг раздалось осторожное и ласковое:

— Разрешите!

Как она подобралась ко мне, тонущему в волнах противоречий, я не понял. Но передо мной стояла девушка моей мечты, та самая, которую, как мне казалось, уже невозможно было вырвать из когтей коршуна с опасным клювом.

Она стояла передо мной, улыбалась мне, приглашала меня потанцевать, а я глупо глядел на неё, не веря в правдоподобие происходящего. Потом протянул к ней руки. Но первая фраза, которую я выдохнул почти тут же, не раздумывая, была к месту, ко времени и ко всему другому.

— Кто вы? — пробормотал я. А может, тихо пропел. Или, вот именно, почти неслышно выдохнул.

— Меня зовут Варя, — ответила она лёгким и ясным голосом. — Учусь на химфаке, а общежитие у нас здесь. Наверху.

Представился и я, удивившись, что только недавно впервые увидел её с другой.

— Ничего удивительного, я с химфака, а он ведь в другом корпусе.

И она добродушно рассказала, что добираться туда приходится с пересадкой, уезжать надо рано. А после занятий весь день в лабораториях. Словом, сюда приезжают только ночевать. Так что тут, на последнем этаже в огромных аудиториях — женское общежитие. В основном, для химичек.

С ней было легко говорить, выдумывать темы для разговоров не требовалось, а я не отводил от неё глаз. Всё вокруг как-то затушеввалось, расплылось, только изредка я отыскивал в толпе Минибая с его напарницей. Наконец, мы остановились вчетвером, пошли, разговаривая, к другому концу коридора, куда музыка доносилась приглушённо.

Я узнал, что вторую зовут Валя и сразу сказал, будто вижу некое слияние, потаённую рифму в двух именах — Ва-ря и Ва-ля! Они ещё удивились такому выражению, дескать, мы — молодцы, начитанные люди, а им и книжки-то в руки взять некогда, кроме учебников, где одни формулы.

Зато среди формул они плавали, как рыбы в тёплом море. И вообще, мир их знаний сильно отличался от наших своей, правда, лишь им понятной, конкретностью. А нам, выходит, своей неконкретностью, часто и самим непонятной. Тут мы расходились своими тропками и, как потом станет очевидным, довольно всерьёз. Их ценности были незыблемы, доказаны и очевидны. Наши — расплывчаты и изменяемы.

В тот вечер, возвращаясь в общагу, мы были влюблены и неоглядчивы. Нас даже не смутило, что Варя и Валя — пятикурсницы, старше нас, и пройдёт несколько месяцев, как они уедут на работу, исчезнут из нашего мира. А мы в сравнении с ними ещё не дозрели. Особенно если принять во внимание, что девушки созревают раньше парней.

Наше знакомство со старшекурсницами, да ещё и с другого факультета что ни на есть естественных наук не осталось незамеченным. Кроме возгласов одобрения в нашей родной комнате и демонстрации открыток о любви, представленных Вовкой Потниковым, отыгрывалась именно эта идея: девушки-ки-то наши — с факультета естественных дисциплин, а мы — с самых что ни на есть неестественных. Ну, что естественного может быть на кафедре партийно-советской печати? А ведь получалось, это главная наша наука. О том, что такое передовая статья, корреспонденция, очерк, информация: что — где — когда? Да разве же это наука?

Ладно, ладно... У всякого времени свои порядки, может, это и есть самая естественная из дисциплин, о которую хорошо бы не споткнуться!

Ещё до зимней сессии мы с Минибаем решили сверкнуть нашим неестественным опытом и пригласили наших девушек в “Савой”. Они специально пораньше сбежали со своего химфака, но когда мы приблизились к месту предстоящей радости, оказалось, что не только “Савой”, но и вся площадь перед ним окружена солдатами. Они говорили, чтобы проходили поскорее, а “Савой” сегодня закрыт на спецобслуживание. Перед подъездом блистал невиданный доселе чёрный ЗИС, и кто-то из взрослых прохожих нам разъяснил:

— Это маршал Жуков принимает каких-то иностранцев.

Мы переместились в ресторан по имени “Урал”, считавшийся познатнее “Савоя”, но уютнее, и хотя меню совпадало — салат оливье — солянка — бифштекс с яйцом, ну, и бутылочка шампанского, плейбоев из нас не вышло. Сухо и громковато стучало подобие джаза из кинотеатра “Совкино”, официанты были небрежны, принимая во внимание наш возраст, да и вообще... Так что разговор зашёл о маршале Жукове, которого Сталин сослал командовать военным округом в Одессу, а Хрущёв, которому Жуков помог арестовать Берию, отправил его сюда, командовать Уральским военным округом. Что это была за наука? Естественная или неестественная?

Мы уже не стеснялись, хоть и негромко, но подхихикивать над происходящим наверху. Не в небесах, конечно, а где-то на среднем этаже, ещё на земле. Там всюду гудела какая-то земная канцелярия. И не молнии, а тягучие сплетни, вроде склизких отходов правды, сползали к нам сюда, за тысячи вёрст от столыцы. Не напечатанные естественным образом на бумаге, а проговорённые именно что вскользь, мимоходом, где-то и кем-то, похожие и на правду, и на ложь одновременно, но зачем-то усердно пускаемые в оборот. В общем, для нас тогдашних они мало что значили, но оказались значащими для всех.

Кажется, я поведал нашим подругам всем известное, что ведь Сталин дал Жукову четыре звезды Героя, два ордена “Победы”, доверял ему, как себе, поставил на самые тяжёлые направления, вплоть до взятия Берлина и подписание капитуляции Германии, а он возьми да и притащи два эшелона трофейного барахла! За что и отправлен в Одессу. Было ли справедливим такое наказание? Мы с Минибаем считали, что, пожалуй, а Варя и Валя предлагали раздать имущество по музеям и детдомам. Но теперь-то Сталина оплевали. И Хрущ снова ссылает Жукова! Два раза за барахло не накажут. Значит, за что? Бойтся?

Мы горячились, но в меру, от бутылки шампанского далеко не забредёшь, так что снова и снова выходили на паркетную площадку перед неумелым оркестром, возвращаясь в нашу естественную, сиюсегодняшнюю жизнь, где было молодо и наивно и ничто пока не угрожало счастливому замку из льда, который уже строился на главной площади города.

Забавно, но гуляние со старшекурсницами повышало нашу цену в глазах ровесников. Не только девчонки, но даже самые близкие корешки по общаге глядели на нас с каким-то сдержанным почтением. Из девического стана, который мы, впрочем, рассматривали с неким небрежением, не раздавалось ни словечка. Только настороженные, даже встревоженные взгляды. Будто чуяли — мы вроде куда-то уходим, собрались на поступки серьёзные, и к нам лучше не соваться со своей мелочью. Братва глядела на нас, как глядят на альпинистов, взбирающихся на неприступную скалу. Если альпинистов можно вообще разглядеть на таком расстоянии.

Но — мы? О чём думали мы?

Да ни о чём. Сначала выходили все четвером из здания, где мы учились, а подруги ночевали, шли пару кварталов, будто просто хорошо знакомые люди, мало ли что. Но потом расходились в разные стороны, чтобы ходить, говорить. И целоваться!

На родину снова пала зима, как всегда по-уральски беспощадная, и нам бы где-нибудь в киношке сидеть, а мы с Варей неторопливо ступали, обутые в не очень-то надёжную обувь, забредали в полутёмные скверы или нехоженые проулки и целовались!

Бог ты мой, какое это было молодое наслаждение — целоваться в мороз за тридцать градусов, когда губы размораживаются не сразу, а постепенно, после трёх-четырёх долгих прикосновений, а потом становятся мягче, и дыхания сливаются в одно, так что между лицами двух влюблённых образуется светлое облако общего дыхания.

Какой ясный мир сиял над нами, ещё не знающими страсти развратных поцелуев, когда языком залезают в другой рот, кусают до крови губы, валяются в снег и рвут одежды. Впрочем, даже вообразить такое в голову не приходило. Упасть в сугроб! Завалить! И что? Это и есть любовь?

Замёрзнув, ходили в кино, чтобы отогреться, не пропускали почти ничего из немецких трофеев, где были отчего-то и американские волшебные феерии — все благородной, не скотской, как позже, пробы, но зрителям целоваться в кино не позволялось приличиями, и мы с Варей сидели, взяв друг друга за руки и с возвышенной нежностью сжимали пальцы.

С Минибаем мы пересекались часто за полночь, когда комната уже дрыхла, мирно похрапывала, и приходилось двигаться на цыпочках. Потом шли в титанную, чтобы налить в кружки кипятка, бросив туда по щепотке чая.

— Ну что? — спрашивали друг друга то я, то он.

— Ничего!

— Умная, — говорил Минибай про свою. — О химии знает всё!

Потом он изучал статью про Менделеева в энциклопедии, великого человека, который, кроме своей великой таблицы элементов, оказывается, определил ещё, что у водки должно быть сорок градусов — не больше и не меньше! Такая забавная новость, пришедшая к нему от Вали, мысленно взбадривала наши ночные чаепития.

Варя была улыбочива и ровна. Она, конечно, могла воскликнуть что-то или расплакаться в кино, тут же, впрочем, улыбаясь. А я терялся. Мне всё казалось, что она недоговаривает. И смотрит на меня будто со стороны и какой-то таинственной мерой измеряет меня: каков я, на что способен, на что — нет.

Мы провозжали своих пассий в корпус, где днём учились сами, Частенько там дежурила наша любимая и беззубая старуха Изергиль, вахтёрша с медалью партизана Отечественной войны на телогрейке. В двенадцать она накидывала на дверь длиннющий крюк, и тогда приходилось долго и упорно

стучать, пока она добредёт от своего столика с настольной пластмассовой и скрюченной, как сама вахтёрша, лампой, до двери.

Затем мы входили. Целоваться при вахтёрше уже считалось дурным тоном, и я смотрел, как Варя поднимается по лестнице, оборачиваясь через каждую пару ступенек и поднимая руку в прощании.

Потом я стоял некоторое время возле вахтёрши. Она всегда улыбалась. Внимательно глядявалась в меня. Однажды сказала мне:

— Ох, берегись, паренёк!

В другой раз ласково спросила:

— А по Сеньке шапка-то?

Я не знал этого. Да и знать не мог.

— Вы стучите, стучите, я открою, — говорила старуха с партизанской медалью. — И хватала меня за рукав. — Люблю, когда молодые провожают! Гуляют! Сама такая была!

Она вела меня к своему суровому крючку и в эти недлинные мгновения много чего умела вставить.

— Ты слышал? — спрашивала она. — У Дуси-то жених на войне погиб?

— У какой Дуси? — удивлялся я.

— Да у кассирши из столовой!

Господи, мы это давно знали. Старуха Изергиль путала времена жизни и всё, что было когда-то, а часто и с ней самой, казалось ей случившимся только что. Потом всезнающие психологи, которые тоже отчего-то учились на историко-филологическом факультете, как-то мельком поставили диагноз старухе Изергиль: вялотекущая потеря памяти. Я обиделся за неё, но не забывал этого обвинения.

И только много лет спустя исправил для себя этот диагноз на другой: вялотекущая утрата времени.

Увы, это ждёт каждого из нас.

10

Бог ты мой, и всё это поместилось только в один пятьдесят шестой год! И зимняя моя горячка, когда я терял сознание, и бунт на корабле, прошедший, к счастью, мимо меня, и закрытое письмо Хрущёва, и практика в далёкой дали, и подарок судьбы — две красивые и умные женщины для двух друзей, как какой-то странный подарок осени...

Не всякий зрелый человек, приняв всё это одно за одним в свою судьбу, выстоит и не пошатнётся. А нам как будто всё было мало. И по любому поводу несло в неведомую даль всё ускоряющимся потоком. Поток этот обрел в разные недели и даже в разные дни разные скорости. В первом семестре четвёртого курса из столицы до Урала долетел снаряд и рванул во всех, наверное, головах сразу. Назывался он романом по имени “Не хлебом единым” писателя Дудинцева, и журнал “Новый мир”, в оболочке которого долетел он до нас, рвали на части.

Единственный экземпляр, поступающий в читалку, не оставался без употребления и по ночам. Желавшие вписывали своё имя в открытый список очередников на ночное чтение, прикнутив его к дверям библиотеки. И не приведи Бог утром такому очереднику не принести журнал и не сдать “дневникам”, которых вообще числилась тьма. Поступали предложения “Новый мир” разорвать на странички, читателям усаживаться в одной большой аудитории и, передавая листки, осваивать сочинение сразу большой группой. Тут же и обсуждать. Но наши милые библиотечкарские старушки вместо этого насилия раздобыли где-то ещё один экземпляр, а потом и ещё, поэтому чтение шло в рваном, но всё-таки энергичном темпе, сопровождаясь множеством рассуждений — опытных и наивных, устных и печатных, потому как газеты, даже уральские, наперегонки старались выразить свои разнообразнейшие суждения.

Роман посвящался изобретателю, который придумал машину, делающую трубы, а ему не дают ходу люди, тоже чего-то изобретающие, но ещё и имеющие власть. Они, коли при власти, конечно, подлецы, усаживают героя в тюрягу, да вот неувязка — в несчастного бедолагу влюбляется норовистая

жёншкa властного персонажа, которая помогает невинному гению. А потом перебегает от нечестного мужа к страдальцу-гению, да ещё и машина симпатичного неудачника пробивает все препоны. Победа одержана. Любовь и талант воссоединились. Но заноза остаётся — кинутый муж поднимается по министерской лестнице. Мол, погодите, ещё не всё кончено...

События, да и сама среда, которую разбирал писатель, была не рядом с нами. Но персонажи, совершенно не похожие на нас, странным образом заставляли насторожиться, требовали и сейчас-то, хотя мы студенты, оглядываться вокруг, присматриваться ко всему, не верить на слово. И думать, без конца думать, хотя думать-то нас по-настоящему ещё никто не научил. Да и учат ли этому?

Надо утонить: мы не были бездумными, но, так сказать, в быту, в студенческих передрыгках. А требовалось, оказывается, ещё какое-то особенное умение постигать жизнь. Очень высокое, совершенно неясное. А потом и вычерчивать свои поступки по чертежам таких дум. Да ещё и не всегда твоих, а чьих-то... Увы, такого никто не знал и не умел.

Так что роман "Не хлебом единым" глотали, вдыхали полной грудью его, несомненно, свежий воздух. Действительно, он против многого настораживал. Только против чего именно, сформулировать мы могли в ту пору лишь общими, да и расплывчатыми фразами.

Снова мы сходились в одной обыкновенной, но чем-то полюбившейся нам аудитории, — может, там было потеплее? Яшка-матрос, бывший поэт и вечный старослужащий Игорь Коробкин, искусствознавец Вовка Потников, всегда уравновешенный Генка Шидрин, какие-то девчонки, даже рьяный филолог Боба Виннер заглядывал к нам по старой памяти. Не было только Джурки Скока.

Нет, вообще-то он заглядывал со своей жёншкoй Алёной Грачёвой, теперь, конечно, принявшей его фамилию, но едва заходила речь о романе из "Нового мира", она, вежливо улыбаясь, поднималась, и Джурка послушно следовал за ней. Что и обсуждалось не менее романа.

— Он всё ещё боится? — спрашивал Шидрин.

— Бояться надо всегда, — поучал Коробкин, и эту философему поддерживал Яков, наш бывалый тихоокеанец. Он нас как-то умело ссаживал с небес на свои стулья.

— А вы хоть чувствуете, про что это? Легче всего сказать: "Да, я всё постиг и понимаю!" Но вот я не понимаю. Чую, что во власть метят. Система, мол, не та. А какая та? Но чего они хотят? Всё порушить? — толковал Яков.

Я пытался спросить без всякой подковырки:

— Яша, а кто — они?

Он опускал плечи, отвечал:

— Не знаю.

— Да и я, — улыбался Коробкин, — просто солдат. Чего понимаю? Но какая-то каша варится, это факт!

Дело дошло до того, что мы с Минибаем, порознь, конечно, а не дружным коллективом, обсуждали со своими прелестницами сенсационное сочинение. Между прочим, оно оказалось им ближе, потому что романские дела и споры творятся и в научном институте.

Варя рассказала, что подобный институт они посещают раз-другой каждую неделю. Их дело — тихо научиться химическим премудростям, но только сотрудники садятся хотя бы перекусить, начинаются свары, споры идут про институтские дела, а не про науку. И — кто? Молодые мужики и парни кричат громче всех и всё чего-то требуют, а фронтовики, доктора наук, те, что постарше, только кряхтят да междометиями отделяются. Ругнулись бы, но неудобно — вокруг много женщин.

— А как будешь ты? — спросил я тогда. — Вы же с Валей отличницы, в какой институт пошлют?

— Нас пошлют в деревню, — улыбнулась деликатно она, — учительницами химии, их не хватает. А если выдержим обязательные три года, то кто-то должен вытащить нас. Но кому нужны будут постаревшие сельские учительницы?

В голосе её я услышал тоску, но думать поглубже ещё не очень получалось, особенно о препятствиях, считавшихся непреодолимыми.

Нет, нам явно не хватало пороха, и более или менее серьёзный обмен любезностями произошёл под управлением Бориса Самуиловича, нашего бывшего заведующего кафедрой печати, участника войны с орденом на груди.

Он однажды случайно заглянул в нашу аудиторию, его заметили, поднялся гвалт, и он смущённо вошёл, остановился у порога. Всегда подтянутый, стройный, в отупленном костюме и при галстукe, он был предметом поклонения не только девочек — все мы смотрели на него, как на достойный, не болтливый, сдержанный образец мужчины высокой пробы.

— Готовитесь? — спросил он почти растерянно, что не было на него похоже. — К зачёту? К семинару?

— Да вот, обсуждали Дудинцева, — решительно проговорил тогда Минибай. — Пытаемся понять.

— Понять, — проговорил наш учитель и отошёл от двери, сел на стул, откинулся на его неудобную спинку.

— Да и я вот тоже, — сказал неожиданно, — пытаюсь понять...

Потом заговорил, задумываясь, спотыкаясь, не всегда уверенно, и именно это влекло нас к нему.

— Я далёк от науки, от техники, — говорил он.

— А у конструкторов, к примеру, всё по-другому. Там оперируют не убеждениями, а фактами. Некоторые из фактов противоречат убеждениям. И получается, что спор должны решать факты. А убеждения, по этой причине, должны меняться. Но часто такие перемены неудобны! Их можно назначить вредными. То есть отвергнуть знание, отправить его в ложную сторону. Истина, таким образом, останется на прежней, исходной, точке или пойдёт по неверной дороге.

— Ну да, — встрял умный Боба Виннер, — это суть романа. А как жить нам?

Борис Самуилович улыбнулся:

— Вот и я думаю, как жить. Но ведь никакой роман, даже самый революционный, не может быть рецептом.

Стало ли нам что-нибудь яснее, сомневаюсь, но спустя недолгое время, я, грешным делом, подумал, что заглянул нам Борис Самуилович неспроста.

Дудинцев взбаламутил, конечно, общество и наших наставников заставил озаботиться. Они-то всё ещё отвечали за неумный ребячий бунт после хрущёвского письма и взялись не за самое приятное: спешно изучать состояние наших умов, выявлять слабые места, чтобы предупредить нежелательные эксцессы. Может, и Борис Самуилович исполнял нам неведомое предписание. Но он же был всё-таки офицер, прошёл войну, и в тяготу ему оказывались этакие собеседования.

Впрочем, я мог ошибаться совершеннейшим образом. Скорей всего — начисто ошибался, потому как через неделю стало известно, что наш серьёзный Борис Самуилович вновь назначен командовать кафедрой партийно-советской печати.

А может, кто-то ещё, кроме нас, например, в ректорате, прочитал “Не хлебом единым”? Название-то, кажется, из Библии?

А может, ректорат преувеличивал политическую возбудимость маловато ещё образованных студентшек? К тому же, ему помогла наставшая весна, сессия, маячившая впереди, а у нас ещё и военные сборы, которые предполагались в начале лета. К тому же распределялись пятикурсники, стояла горячая пора, хоть и незаметная неозабоченному взору.

II

А скоро у пятикурсников совершилось распределение, которое, пока по касательной, коснулось и нас. Мы с Минибаем даже заявили к химфаку, условившись с Варей и Валей, что они сразу выйдут к нам, а мы подождём в скверике рядом. И вот, проёзжав все штаны, мы увидели их, медленно шагающих в нашу сторону. С двумя мужчинами. Один, довольно пожилой, был

неизвестен вовсе, а вторым оказался Серафим Юрьевич, секретарь райкома, — почему он-то?

Девушки держались неуверенно, Варю даже, кажется, шатнуло, и пожилой схватил её под руку, которую она тут же вежливо, но решительно отвела. Конечно, Варя и Валя видели нас, но почему-то отворачивались, беседуя со своими сопровождающими. Однако разговор этот, даже на расстоянии было заметно, как-то не клеился, был если и не нервным, то неровным.

Мы всё-таки встали с садовой лавки, и настал миг, когда не заметить нас стало бессмысленно. Все четверо повернулись к нам, девушки забодрились и заулыбались, а Серафим Юрьевич сам сделал навстречу нам пару шагов, обернулся на наших подруг, что-то смекнул и весело сказал, обращаясь ко всем сразу:

— Ну, понятно! Теперь удаляюсь спокойно!

Повернулся к красавицам:

— Они вели себя отменно! Едут туда, куда распределили! Без всяких слёз! Поздравляю!

И удалился по аллее, бодро вскинув русую голову. Но зато второй не уходил, и Варя посмотрела на него:

— Ну вот, профессор, познакомьтесь, — сказала она и представила меня.

Тот пожал мне руку, потоптался, холодно всем кивнул и развернулся.

— Итак! — сказала Валя, улыбаясь какой-то вымученной улыбкой. — Нас распределили в сельские школы по призыву комсомола. Меня — в Челябинскую область, Варю — в Пермскую. Но у Вари есть вариант! — И она надрывно, неестественно, рассмеялась. Варя хлопнула её по плечу.

— Какой вариант? — спросил я. — Остаться здесь?

— Ну да, — ответила Варя, — остаться здесь, если приму предложение профессора Никольского.

— Остаться на кафедре? — обрадовался я. И тут был опрокинут.

— Выйти за него замуж!

Я встряхнулся, приходя в себя, как после нокдауна. Минибай даже обнял меня за спину, чтобы я, видать, навзничь не опрокинулся. Даже вопрос задал вместо меня.

— И что решила?

— Конечно, в деревню! Ведь нас призвал комсомол!

Воскликнула всё это Варя не просто бодро, а весело, освобождённо, а слёзы лились у неё из глаз в три ручья. Но она продолжала смеяться, потом кинулась к Вале, уткнулась в неё, и что-то они друг другу будто бы передали, какую-то, может быть, решимость или, напротив, слабость, но уже через минуту стояли перед нами, своими юными хахалями, как ни в чём не бывало.

— Ну, пойдёмте, мальчики!

И мы прошли по скверу все четвером сколько-то там метров, потом, по обычаю, разошлись парами в разные стороны, и Варя, взяв меня под руку, принялась успокаивать, чтобы я не подумал ничего дурного.

Этот профессор окучивает её, оказывается, с первого курса, знает, что у Вари есть какой-то ухажёр с журналистики, этакий, по его мнению, щегол, а он — надёжная опора, горячо влюблённая в Варвару. К тому же он недавно защитил докторскую и шёл вперёд на всех научных и карьерных парусах. И всё бы хорошо, да только он не нравился Вале. Целых пять лет она посмеивалась над его глупыми ухаживаниями, и сейчас очень хорошо, что он увидел меня, по мнению Вари. Может, отстанет. А она поедет в деревню, что тут страшного!

Я должен был верить каждому её слову, но с каждым словом тягота наваливалась на мои плечи. Выходило, я становился мотивом, какой-то причиной её судьбы? И при чём тут секретарь райкома, к которому я относился с почтением? Что это за фигура, вдруг выглянувшая из-за кулис?

Обсуждать такие тонкости мне казалось неловким. Что я-то могу ей обещать? Речь у Вари о серьёзном выборе, а кто такой я? Студентик беспштаный? Да я даже подола её платяя ни разу не приподнял!

Невидимая тревога подвола вдрут к нам и следовала за спиной. Вдруг появилось что-то, неловкое для обсуждения. Будто отмахиваясь от неясностей, мы проходили до темноты и долго-долго целовались в каком-то тупике — спасибо людям, собакам и кошкам, что ни разу не потревожили нас. Словно уговаривая, утешая меня, Варя повторяла, что любит только меня, любит бесконечно, и что всё будет хорошо, но ведь мне надо ещё закончить университет!

Когда мы пришли в её общежитие уже ночью, опять вахтёрила старуха Изергиль. Она сразу определила, что мы чем-то расстроены, сообщила, что Валя уже вернулась, и погладила Варю по руке:

— Ничего, девочка, держись!

То ли она знала ей одной ведомое, то ли по-своему, по-изергильски, предчувствовала, но в мою сторону она едва глянула, окатив чем-то вроде презрения. Но разве я заслужил такой взгляд?

Ещё перед дверью, которую с той стороны держал длиннющий крючок старухи Изергиль, Варя сказала, что они с Валеёй уезжают через три дня. А в честь отъезда устраивают вечеринку для нас четверых.

— Где? — спросил я, подумав, что четвером всё-таки удобно расположиться в “Савое”.

Но Варя объявила нечто невероятное: большинство девчонок из их комнаты, где тридцать коек, разъезжаются раньше, а те, кто ещё в городе, уже согласились провести вечер в других местах. А поезд, в котором Варя и Валя поедут сначала к себе домой, идёт в одиннадцать тридцать вечера. Почти ночью.

Да и денег на ресторан нет.

12

Даже в тот вечер мы оказались олухами.

В нынешние времена люди, особенные молодые, посмеются над нами. Но в ту пору, когда мы были молодыми, они бы не удивились произошедшему, а приняли бы его, как должное, как, может быть, благоразумие, о котором не принято было исповедоваться. Особенно тогда.

Мы с Минибаем впервые вошли в эту огромную комнату, уставленную железными кроватями. Застланы они были по-разному — одни по-женски, с множеством подушечек, и это вызывало удивление — в общежитии! — другие — в общепринятом студенческом стиле — чистенько и скромно. На многих матрацы оказались свёрнуты в рулоны. Кроватей — многие стояли впритык — было множество, и первой темой нашей прощальной встречи стало удивление — как враз могут спать в одной комнате три десятка женских душ? Это не пятеро, не семеро — сразу тридцать!

Стол был накрыт чистой скатёрочкой, которой служила, как позже выяснилось, простыня с Вариной кровати, свежая, естественно, а на блюдечках лежала снедь, довольно щедрая и разнообразная для такого странного застолья.

Валя закрыла дверь на ключ, и мы расселись парами по обе стороны стола: Минибай со своей пассией и я.

Вино оказалось красным и сладким, выбранное явно неискушёнными женщинами и для них же предназначенное, в полном противоречии с закусками — селёдкой, салом, колбасой и прочими подводочными яствами.

Мы перестали стесняться друг друга — две влюблённые пары, а просто целовались, но очень-то ещё и умея говорить выпренные и прощальные речи.

В той громадной общежитской аудитории, уставленной кроватями девушек, неведомых нам с Минибаем, да и после сладенького винца, всё казалось радужным, обещающим надежду и ясное будущее, которое обязательно состоится! Это мы знали наверняка, не зная решительно ничего про то, как это произойдёт!

Но думают ли о чём-то будущем люди, когда с ними уже что-то происходит? Мы сидели и час, и два, стало смеркаться, а потом стемнело. Ничего не объясняя друг другу, мы разошлись в разные стороны огромного помещения и уселись на койках. Варя потушила свет.

Мы сели на кровати, поцелуи были осыпаны нами до совершенства, и я, учитывая тепло и темноту, стал впервые расстёгивать её кофточку. А она не сопротивлялась.

Мы легли, я расстегнул лифчик и целовал теперь Варю уже не в губы, а гораздо ниже. То и дело она брала мою голову и целовала мои глаза, нос, даже уши. Я опустил руку вниз, поднял платье, приспустил то, что там оставалось. Она прошептала:

— Подожди!

Я принялся вновь за свои школярские ласки, и всякий раз, когда добирался до заветного, она опять шептала:

— Подожди!

Это звучало неубедительно, нетвёрдо, и я проявил настойчивость, одолев последнюю препону. Я гладил нежную, шелковистую кожу самых заповедных территорий, и мы были уже готовы ко всему, как вдруг вспыхнул свет. Валя, не глядя на нас, сказала противным твёрдым голосом, застёгивая свою кофточку:

— Уже пора! Иначе опоздаем на поезд!

Минибай приближался к нам с вытаращенными глазами, как тогда! Не зря его принял за сумасшедшего доктор Айболит с длинными усами. Я вскочил, за моей спиной Варя приводила себя в порядок.

— Ну, вот и всё, мальчики! — тихо улыбнулась брюнетка Валя и щёлкнула ключом в двери.

Переступая порог, я обернулся на эту комнату, уставленную кроватями, на неказистую люстру, сияющую под потолком, на стол посредине, где осталось несъеденная еда. Свет погас, дверь закрылась, мы спустились вниз, где старуха Изергиль приняла ключ, а мы с Минибаем взяли в руки два чемодана, к которым были неловко приторочены подушки наших подруг. Что делать — они уезжали навсегда.

Старуха Изергиль, нарушив свой обычай, не сказала ничего. Махнула рукой. Неизвестно кому — им или нам?

Прощаясь или прощая.

Повесть восьмая

РОМБИК

1

И вот в один прекрасный день нам велели собрать вещмешки, а не чемоданы, прибыть на вокзал и отбыть общим вагоном — переполненным и прокуренным — в воинскую часть под Челябинском. При этом подстричься наголо — нас брали в солдаты, чтобы очень быстро сделать офицерами.

Любовь со 122-миллиметровой гаубицей образца 1938 года, которая, без нашего согласия, началась на втором курсе, оказалась затяжной и не взаимной. Эпизод, когда сразу два курса с трудом выкатили тяжеловесную красавицу из сарая в университетском дворе, издав притом непотребное восхищение её мощью, так и оставался пока что эпиграфом к закону, согласно которому каждый небольшой студент должен получить офицерское звание с артиллерийской специальностью.

Почему — артиллерийской, ведали только мудрецы с каких-то облаков, даже не уральских, бери выше. Может, надеялись на наш физмат? Так в нём две трети было девах да какие-то хромые умники в очках. Никогда физмат не числился среди армейских надежд. Ну, а что возьмёшь со всяких там историков, филологов, даже газетчиков? Ведь многие и бежали-то сюда от математик разных да физик. А тут — на тебе: баллистика, таблицы стрельб, координаты целей... Довольно ясное обнаруживалось несоответствие, чья-то там командная нерасчетливость.

И вот мы потряхивались в каких-то полувоенных вагонах, совершенно штатские переростки, наполненные вздором абсолютно не военного образца,

что никак не смущало артиллерийского майора Слинько, возглавлявшего соединение балбесов.

Его сопровождал, ясное дело, старослужащий Яков Сенгур, а следом Игорь Коробкин, солдаты не из такого уж и далёкого прошлого. Эти наши опытные однокурсники двигались, принимая к сведению замечания майора, а некоторые и записывая в случайную тетрадку.

Майор был наш рождён комбатом! Причём именно что гаубичной артиллерии: ведь она бьёт издалека, по рассчитанным целям, имеет своё отделение разведки, которое выдвигается вперёд, чтобы координировать стрельбу. Так что если в артразведку требовался народ малорослый, то на самой позиции мог командовать любой гигант, вот как этот майор, например. Войну он прошёл, демобилизовался, но его вызвали куда надо и уговорили учить штатских болванчиков в государственном университете с правом ношения формы. Это он не раз сообщал нам. Впервые, когда мы с позором выкатили гаубицу во двор, да на том и иссякли. Потом — на всевозможных занятиях в специальных классах военной кафедры, расположенных на первом этаже нашего корпуса, по соседству с вахтёрским столиком старухи Изергиль. Ну, и сейчас, конечно, в шатком вагоне.

— Ведь всем было приказано! — весело воскликнул майор. — Самостоятельно! По-нимаете? Самостоятельно! Подстричься наголо! Как солдатам! А вы, курсант Виннер? Почему проигнорировали? Где и чем теперь я вас подстригу?

Боба Виннер был из самых убеждённых филологов и знатоков древнерусских наречий, стоял он перед майором навтыяжку и шатался вместе с вагоном, едва не падая, и двоим доброхотам приходилось его придерживать, взяв с разных сторон за брючный ремень.

— Не успел! — оборонялся Боба. — Товарищ майор! Физически не успел!

— Физически! — возмущался майор, не переставая улыбаться. — Физически будет вам теперь персональная санобработка! Иначе лагерь не пустит!

— Да мы его здесь! — помог замечательный наш матрос Яков. — Вот у меня и ножнички есть!

Он раскрыл какой-то небывалый для тех лет, явно трофейный немецкий складной ножичек — и шевелил микроскопическими ножничками, торчавшими из него.

Майор хохотал, но заметил, что такого именного приказа он отдать не может. Вот если курсант Виннер согласится, то это его дело. Но Боба брыкался, пытался вырваться даже из рук друзей, поддерживавших его за штаны, и ни на что не соглашался, чем вызвал народный ропот:

— Все подстриглись добровольно! А этот чего выпендривается?

Похоже, наш железнодорожный состав оказался неожиданным для этой, недлинной, в общем-то, дороги. Он то подолгу отстаивался, то пробегал короткую дистанцию, то опять замирал, а перед его носом летели не только поезда дальнего следования или товарняк, но даже обшарпанные вагоны пригородного сообщения.

— Чёрт! — всё улыбаясь, говорил наш майор. — Никому-то не нужны мои будущие офицеры!

Эх, понять бы ещё тогда, в какую честную подзорную трубу, обращённую в грядущее, глядит наш весёлый, белокурый, огромный майор Слинько!

Рано или поздно, но мы добрались до огромных армейских палаток, коек по пятнадцать каждая, с поднятыми, невиданно для нас, штатских моллокосов, стенками: будто это какие-то дамы приподняли свои подолы. Мы кинули свои мешки строго под топчаны, один Боба Виннер уложил свой аккуратный рюкзачок поверх одеяла, за что получил уже и не майорский, а общественный втык.

Из-за него построение задерживалось: человек триста топтались в строю, а Коробкин с Яшкой бегом, подталкивая и матеря Бобу, шарили между топчанов, дабы навести порядок.

Пока что мы были в гражданском. Однако вытянулись и присмирели, получив команду на равнение и смиренность. Мимо нас стремительно прошли два полковника и наш майор, которые будто споткнулись возле Бобы Винера, хотя и стоял он во втором ряду.

— Почему не подстрижен? — спросил полковник, шедший первым, ни к кому не обращаясь.

— Упирается! — ответил майор.

— Жаль, что присяга ещё впереди, — хищно проговорил другой полковник. — А то бы не разговаривали.

— Пока разъясняем! — ответил майор Слинько.

Потом главный полковник, образ которого во мне смылся за давностью лет, командным голосом пояснил, что мы прибыли на армейскую территорию, где действуют главные военные правила: приказ и его исполнение. Передвижения по лагерю только строем, занятия по расписанию, отбой и отдых — по команде.

Строем нас отправили в баню, часа три переодевали в солдатскую форму, потом построили снова.

В том же составе командиры прошли перед нами, опять споткнулись взором на Бобе, постояли мгновение, но теперь — молча. И ушли вдоль палаток с поднятыми подолами.

А ночью, точнее — под утро состоялось исполнение общественного приговора. Боба был определён в нашу палатку, спал возле стенки, и сперва группа назначенных подол палатки опять подняла. Он не проснулся. Матрос Яша вынул из кармана ножницы, а не трофейный ножик с маникюрными приспособлениями, и пощёлкал ими, проверяя эффективность. Двое сели Бобе на ноги, ещё двое взяли его за руки, один ласково обхватил шею.

Наш соратник даже не испугался, хотя проснулся как-то запоздало. Яша посоветовал не подавать голос, а потом стал стричь не такую уж и примечательную филологическую причёску. Боба покорно сник. Не знаю, что предполагал Яков, но долго он не возился. Срезал сверху несколько плетей, образовалось очевидное уродство, и этого оказалось достаточно. Бобу разом отпустили. Старший посоветовал: после завтрака зайдёшь в баню, там достригут машинкой.

Мне как давнему знакомому Бобы выпала незавидная роль адвоката: если он пожалуется, все в палатке будут свидетельствовать против него.

— Ты вообще зря устроил этот конфликт, — вздохнув, посоветовал я. И похлопал Бобу по плечу. — Против лома нет приёма.

Он дрожал и жалко улыбался. Часто-часто кивал мне.

Надругались ли мы над ним? Это обсуждение не раз возникало потом в палатке, когда Бобы не было, или в курилке — ею служили четыре лавочки с бочкой, наполненной водой и поставленной посередине.

Все до одного оценивали историю с Бобой другими словами: если правилам подчиняются все, то почему один должен иметь привилегию?

Ведь это армия!

2

Кто бы и подумать мог, что совсем скоро это правило повернётся против нас всех сразу. И объяснение — ведь это армия! — мы примем в штыки. Как доказательство, что один против всех — никто.

Оказалось — кто! Да ещё и какой кто! Способный сломать всех! Сразу! И явился этот один, будто злой дух из волшебной лампы Алладина. Полковник, за плечом которого негнбаемым, казалось, монументом возвышался наш могучий майор, довольно буднично произнёс, когда нас уже переделали в форму и опять построили у палаток:

— Вашей роте придан старшина Цыбулько! Все ваши сборы, кроме занятий и стрельб, он будет при вас. Командуйте, старшина!

И они подозрительно быстро исчезли — и полковник, и многопудовый Слинько.

Теперь мы разглядывали Цыбульку. Он прохаживался перед нами неспешно, вначале дав команду “вольно”, чему-то усмехался, поглядывая на нас, потом вернулся в центр, скомандовал — “равняйсь!”, “смирно!” — что мы исполнили без ожидаемой им ретивости, и произнёс довольно нагло:

— Моя задача — из интеллигентов сделать солдат. Вижу, что работы невпроворот. Будем учиться! И подчиняться! Понимаете? Подчиняться.

Долго выяснял, кто умеет петь, знает строевые песни, и оказалось, что играть на аккордеоне умеет, конечно, Джурка Скок, а певцов, да ещё солдатских песен, нет, за исключением старослужащих Сенгура и Коробкина.

С трудом Цыбулько построил нас в каре, дал команду на марш, долго дирижировал нашей походкой: “Левой!”, “Левой!” А как только стало хоть что-то получаться из этого марша и наш топот стал мерным, крикнул:

— Запевай!

— А чего запевать-то? — совершенно по-штатски крикнул Джурка.

Я ему подсobil:

— Марш артиллеристов!

Скок обрадованно возопил:

— *Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовёт отчизна нас,
Из сотни тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину — огонь, огонь!*

Боже, да кто из нашего племени не слышал или не знал эту песню, которую я во вступительном сочинении привёл, схавав бессловесное благословение той спасительной литераторши! И вся эта начинающая рота знала могучий марш, да ведь — вот когда мы и осознали-то свою военную специальность — марширует тут не пехота, а сам Бог войны, артиллерия! Наш это гимн! И даже славно стала получаться эта, к тому же, строевая песня, но Цыбулько вдруг остановил нас. И произнёс нечто, ввергнувшее в обалдение. Он сказал примерно так:

— Сталина из песни уберите!

— Ты что, мужик! — спросил его довольно громко Джурка Скок. — Это же песня!

А тот солдафон, приказчик от военной службы, никто перед нами, полезавтрашними офицерами, вдруг изрёк:

— Я не мужик! Я член нашей партии! Изучал материалы съезда! И песня эта! — и будто в нокаут всех отправил: — Отменяется!

Все молчали. Я оглянулся по сторонам. Наши старослужащие Яков и Игорёк, люди из народа, стояли, опустив пилотки к земле! Минибай переступал с ноги на ногу. А Скок — он же был на подозрении, ему и нужно молчать. Но над ротой плавал лёгкий ропот, этакое гуденье несогласия, удивления, но никакой не протеста.

— Вы же образованные люди! — атаковал нас Цыбулько. — Вы же всё знаете! Ну, что вам стоит! Замените “Сталин” на “Жуков” и пошли дальше!

Отдал команды, мы застучали сапогами на месте, потом двинулись, дружно тоная, и Джурка затянул после команды:

*Артиллеристы, Жуков дал приказ!
Артиллеристы, зовёт отчизна нас...*

Мы попробовали вторить ему, но после третьей строчки всё угасло, половина умолкла. А то и больше! Строевой песни не получалось. Старшина остановил роту. Заорал:

— Сейчас полковник придёт, послушает вас, а мне достанется!

— Плохо думаешь о своём полковнике, — крикнул кто-то анонимный.

— Я! Плохо! Да я вас! Да вы у меня!

И он погнал нас вперёд. Мстительно выдержал паузу. Она-то его и подвела. Джурка сказал, чуть обернувшись:

— Пусть запеваёт кто-то другой!

И когда команда поступила, кто-то из глубины нашего строевого квадрата заорал, не умея, видно, петь:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт отчизна нас!*

Старшина приказал остановиться. Стоял перед нами злобный, посинелый от чужой неподчиняемости, играл желваками, выбирая слова. Но поступил, в своём положении, неглупо:

— Запевать буду я! Кто знает, подпевайте! Выучим! И не одну!
Приказал двигаться, пошёл впереди, запел:

*Путь далёк у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди!
Вьётся, вьётся знамя полковое,
Командиры впереди.*

*Солдаты — в путь, в путь, в путь!
А для тебя, родная,
Есть почта полевая.
Прощай, труба зовёт!
Солдаты — в поход!*

*Каждый воин — парень бравый,
Смотрит соколом в строю.
Породни-роднились мы со славой,
Славу добыли в бою.*

Песня была из простых слов, запоминалась со второго раза, но вредный Цыбулька прогнал нас раза четыре под этот марш.

И тут пошёл дождь. А старшина печатал шаг и пел, казалось, ещё громче. Но теперь строй подпевать не желал. Штатская вольница, переодетая в солдатскую форму, ещё не означала воинское подразделение. Это бесило старшину. Мы замолчали всем. Повернувшись к нам и как бы отступая перед ротой, вразнобой, но всё-таки движущейся, он перевёл нас в ходьбу на месте и нагло крикнул:

— Пока не запоёте, будем ходить!

И снова завёл:

*Прощай, труба зовёт!
Солдаты — в поход!*

Человек пять громко возмутилось:

— Ведь дождь!

— Где сохнуть будем!

— Хватит издеваться!

Но Цыбулька шёл впереди, печатал шаг по лужам и, как сломанный граммофон, пел один и тот же текст. Рота разбрызгивала воду методично, но молча. И вот кто-то сдался: запел. Не успел я шевельнуть ушами, как запела добрая половина. А ещё через минуту сдалась. Лица у всех были мрачные, даже злые, но один старшина сломал сразу всех — мы промокли до нитки, зато пели то, что он велел.

Перед сном в палатках висел густой мат. Наш покоритель Цыбулька выполнил свой партийный долг и смылся, а мы растянули какую-то верёвку под нашей холодной крышей и вывесили свои гимнастёрки, брюки, нижние рубахи плюс кальсоны. Самыми сухими оказались портянки — вот ведь какой парадокс, они же в сапогах всё-таки.

Переиграли солдатские сообщения Боба Виннер. Ведь всем приказали мешки сдать на склад, и мы послушно их отнесли, не думая о чёрном дне. А Боба подумал. Под простыней у него был заначен комплект: майка, трусы и носки. Никакого секрета в том не существовало, мы лишь надменно усмехались над нашим непослушным Бобой, укладываясь спать в кальсонах и рубахах, но вот настал миг — и он победил. Теперь мы укладывались под колючие суконные одеяла голышом — дрожа от холода и матюгая без разбора и старшину, и предусмотрительного Бобу.

3

А про полевую почту этот Цыбулька нам всё-таки накаркал. И карканье это обернулось праздником. К концу следующего дня Боря Рябиков, назначенный почтальоном, куда-то сходил, а принёс казённые газеты и по два письма нам с Минибаем. Варя и Валя исправно выполнили своё обещание, потому как про наши сборы говорилось давно, да и с указанием номера полевой почты. И хоть наши подруги клялись писать каждый день, всех превзошёл Джурка Скок, получивший конверты как от горячо любящей жены, и так и от родителей. Пять штук!

Настроение поползло вверх, а старшина вроде как отошёл вбок. Но ненадолго. Он обладал каким-то тайным чудом проваливаться сквозь землю. Вот старшина есть, и — раз! — его нет. Как только мы заходили в палатку для занятий, к примеру, по тактике, он перед самой палаткой ещё поторавливал отстававших и вдруг — исчезал. Вполне возможно, это объяснялось нашим частичным переходом из состояния рядовых во что-то будущее, с намёками на погоны со звёздочками? А может, просто его рота не имела значения для последующего образования, и она ненужно растворялась?

Нами занимались молодые офицеры, старлеи и даже капитаны, но майорская звёздочка как бы разделяла военные сословия. В чине майора мог быть лишь посланец полковника, с самостоятельными полномочиями, уже настоящий командир, а все эти старлеи недалеко ушли от нас по своей военной тропе. И совершенно не выпендривались перед нами, изо всех сил полагая скорее научиться стрелять из орудий.

Пока мы парились в потёмках теории, часто ощущая себя полными ту-пицами, эти ребята — все с открытыми, приятными лицами, — не отчаиваясь, повторяли и повторяли, учили и учили, как пользоваться таблицами, дрессировали нас на маленьких сорокапятках или даже семидесятишестимиллиметровках щёлкать затворами, забрасывать в ствол муляжи снарядов, исполнять прицельные команды. Потом нас повезли на первую стрельбу.

По искорёженному полю ползли на железных санях железные же стойки с натянутыми на них брезентовыми полотнищами, а выходило вроде парусов, и по ним требовалось хлопнуть из сорокапятки — самого лёгкого, придаваемого пехоте орудия.

Особенно волновался наш многопудовый майор. Казалось, он вообще только для того сюда и прибыл с нами, чтобы повторять каждому наводчику перед стрельбой.

— Стреляешь, не забудь — откинься! Голову береги! Глаза!

Сорокапятка сильно отдавала, подпрыгивала, как лягушка, хотя станины и были закреплены надёжнейшим образом, прицел с резиновой прокладкой бил в наводчика, если он не отклонялся, и рассекал бровь!

Джурка Скок первым получил ранение. Тут же Генка Шидрин. Ещё человека два — с исторического, кажется, отделения и психолог. Я голову отдёнул. И Минибай, и моряк Яков, наш старшой, и Коробкин. Раненых перевязали, и дней по пять они ходили, будто фронтовики, вызывая двойное ощущение — сочувствия и издёвки.

Через неделю нас подняли до рассвета и рассадили по грузовикам. Это были мощные “Студебеккеры”, и каждый тащил за собой большое орудие. Нет, это не были 122-миллиметровые гаубицы образца 1938 года, но и не семидесятишестимиллиметровки. Потом мы очутились на площадке перед маленьким холмиком, грузовик орудие отцепил. На том объявлялся завтрак.

Как из-под земли, как ему и полагалось, явился Цыбулька, раздавший котелки и ложки. По уставу полагалось всё это иметь при себе, в вещмешке или даже на поясе, но, учитывая наше интеллигентское происхождение, студентам средства для питания вручили из рук в руки.

Мы поели, старшина выдал лопаты и пропал. Один из старлеев ласково пояснил, что поступила команда орудия вкопать в землю для длительной обороны. А далее снял свою гимнастёрку. Оказалось, что требовалось отрыть орудийный окоп под самое дуло. С одной стороны, дело казалось ясным, с другой, трудным: уральская почва состояла из камней с мелкими почвенными вкраплениями. Мы взмокли, тут же набили мозоли и торопились, потому что торопил старлей.

Раз пять подходил наш майор, даже малость помахал лопатой, но тут же двинулся далее, потому как справа и слева от нас слышались нетихие матерки таких же, как мы, артиллеристов. Короче, совсем как в старом солдатском анекдоте, мы рыли “от забора до обеда”, от орудия до, казалось нам, дна земли, и, где-то уже отобедав, наш старлей стал получать команды по полевому телефону. Опять возник майор и снял ремень, которым подпоясывал гимнастёрку, приказал мне стать наводчиком, Минibaю — заряжающим, остальным — по порядку номеров, и все мы, после выстрела, должны были меняться, как пояснил он, приказав старлею помогать ему.

Однако целиться в полном смысле этого слова не пришлось. Старлей передавал мне цифры, я вводил их в прицел, а потом приводил ствол в соответствие с ними. Дело шло непросто. Команду несколько раз переправляли. Наконец, майор, приложивший трубку телефона к уху, ясное дело, поднял руку. И крикнул:

— Пли!

Я должен был, нажав спуск, отскочить как можно резвее! Майор прожужжал уши всем нам:

— Нажимай и отскакивай! Это не сорокапятка! Восемьдесятпятка!

Я исполнил наставление. И довольно шустро, как думал. Но меня швырнуло назад таким невидимым толчком, станины подскочили, ствол отдёргнулся назад смертельным отскоком, а я валялся на куче откопанной земли. И ничего не слышал!

Могучий майор поднял меня, и я видел, что он что-то говорит. А услышал голос только чуть погодя.

— Открой рот! — кричал он. — Глотай воздух! Воздух глотай!

Парни из нашей команды испуганно тарачились на меня, на майора, старлея, на себя, крутили головами, глотали, как я, воздух, пока вдруг майор Слинько, получив по телефону известие, не закричал, радуясь:

— Попали, черти! Поразили цель!

И стал обнимать старлея.

Мы выстрелили ещё раз пять. Но я уступил место другим, стоял подальше от прицела, от затвора, заводил с кем-то на паях тяжеленный снаряд в ствол, потом вообще торчал у станины, заколоченной в землю. На обратном пути, когда ушные перепонки пришли в привычное состояние, и нас покачивало на лавках “Студебеккера”, спросил у приятелей:

— А как же на войне-то?

Так что двадцатидвухмиллиметровая гаубица так и осталась где-то в голубой дымке, пощадив, пожалуй, нас. Кто-то верхний решил, что с нас хватит и 85 миллиметров.

Как же, всё думал я, ахает тогда она? И как же попасть из неё-то в цель? Да ещё с закрытых позиций?

Мы так и не увидели результатов нашей стрельбы, поверив майору, что попали. Ещё не раз я вспомню этого весёлого дядьку, его науку тщательно окапываться, прежде чем сделать выстрел, а потом ещё и шустро отскакивать, ведь чем крупнее орудие и мощнее выстрел, тем опаснее отдача. И очень даже просто может пострадать не тот, в кого стреляют — глядишь, пронесёт! — а тот, кто стреляет. Полезный, между тем, вывод. На все случаи жизни.

А с Цыбулкой мы простились, не прощаясь. Когда сдали зачёты, ведомые старлеями, и был назначен час отбытия, он, обладающий волшебным

свойством исчезать, сгинул. Набить ему морду обещалось превеликое множество нашего брата: кому наряд вне очереди, кому маршировка дополнительно к строевой — издевался ещё и таким манером, — но пропал он бесследно. Полагаю, его даже поощряло к этому евоинное начальство — от греха подальше. Мавр сделал своё дело — мавр может и вовремя слинять.

Но как же летел наш обратный поезд! Как сказочно слетали с нас лягушачьи шкуры! Сдав гимнастёрки и галифе, натянув кровные штаны да куртки, мы зримо возвращались в штатский мир, нежданно оказавшийся приветливым, доброжелательным, на худой конец, равнодушным!

Офицерами, да ещё артиллеристами нам не бывать, и это ясно со всей очевидностью даже для нашего прекрасновеликого майора! И эта шкура задолженности перед кем-то или перед чем-то, похоже, сползала и с него.

На сборах мы приняли присягу. Оставалось последнее: госэкзамен по военке и получение звания — младший лейтенант, прости Господи!

4

И вот экзамен! Вроде нас поднатаскали эти доброжелательные старлеи под зорким оком майора, вроде что-то и кое-как мы представляли, могли понять, о чём речь. Но в одном билете пять вопросов — от математики, чуждой нам, тактики, которая не ясна без войны, до уставов — чистое сумасшествие! Как справиться с таким без пяти минут гуманитариям?

Настала неделя перед военной. Гуляло лето, университет опустел, оставались только парни, а потому аудитории, где в прежнее время после занятий собирались кучи народу разных специальностей, позакрывали. Оставшиеся располагались кучно, мешали друг другу и не давали спать.

Ведь известна жизнь студенческая: читаешь-читаешь, потом головка качается на тонкой шейке, укладываешь её на учебник, и — брык! — цветные сны про неведомые пуши то ли прошлого, то ли предстоящего. Поэтому, мечтая обрести тихое пристанище и, видно, демонстрируя ликом своим унылую невозможность исполнить такое желание, я столкнулся взглядом со старухой Изергиль. Она сидела за своим столиком с крючковой настольной лампой, за спиной у неё посверкивал шкафчик с ключами, и вот тут, оказывается, я молча посмотрел на неё.

— Что с тобой, милый мальчик? — спросила она, имея, наверное, в виду мою влюблённость, протекавшую у неё на глазах. — Тебе нехорошо?

Я слабо улынулся ей, вызвав, видать, ещё большее сочувствие. А когда взгляделся в её лицо, такое знакомое, состоявшее из одних морщин да двух сочувственных горячих глаз светло-серого, почти выцветшего, цвета, она, поняв это как крайнюю степень моей душевной истощённости, сломалась и, наконец, протянула мне целую связку ключей и указала в сторону военной кафедры.

— Иди тихонько, сосни. Закройся изнутри! Туда пускать-то нельзя!

Похоже, я и правда был истощён безнадёжностью, а потому и начал, как советовали. Чемоданчик с конспектами и прочей ерундой поставил на стол, а буйную головушку уронил прямо рядом.

Рано или поздно живые люди просыпаются. Проснулся и я, сначала не признав обстановки. Было сумрачно, прохладно, хотя на улице крепчала уральская жара, и я один среди столов и стульев. Только тут и включил свет.

Лампы под потолком, школьная доска с мелками, на стенах — чертежи с деталями орудий в разрезе. Справа — двери; дальняя, я знал, — класс для занятий, а две, что поближе, — преподавательская да кабинет начальника, им у нас был настоящий генерал-майор.

Вяло я оглядел унылое пространство, потом по странному позыву подошёл к закрытым дверям и подёргал ручки. Понятно, они не поддавались. Тупо я таращился по сторонам, тупо открыл чемодан, раскрыл тетрадь с конспектами со сборов и тупо же уставился в стол. На столе лежала связка ключей. Я смотрел на неё, как смотрят на чуждый предмет, не имеющий отношения к делу, и тут... Тут кто-то протянул мою руку к связке, поставил на ноги и отправил к двери, где в дни занятий передыхали наши офицеры.

Перебрав ключи, я стихийно выбрал внешне подходящий, вставил в замок, он послушно щёлкнул, я вошёл и осмотрелся. Кондровое, обычное конторское помещение со столами вдоль стен. Я отчего-то уверенно, будто кто-то вёл меня, двинулся к ближайшему, потянул на себя верхний ящик. Он легко поддался — и я увидел пачку плотных карточек. На них стояли номера билетов и ужатые до предела ответы. Цифры, слова правил, выдержки из уставов.

Я захлопнул ящик, выскочил в пространство, где сидел, закрыв, конечно, дверь. Потом, забрав шмотьё, вообще вышел из этого военного подразделения.

По чёрной лестнице поднялся к друзьям. Они уныло бродили, переговаривались, спрашивали о чём-то друг друга. Уверенных в победе я не заметил. Потом поманил Минибая в коридор и, взяв клятву в вечном молчании, изложил ситуацию и предложил действия. Они состояли в том, что ответы временно изымаются из ящика стола, беспечно оставленного незакрытым, мы перемещаемся в изолированную аудиторию — такая была на противоположной стороне площадки того же этажа и тоже принадлежала военной кафедре, а значит, в связке ключей висел доступ и к ней. И мы — кто мы, неизвестно! — быстро переписываем ответы. Каждому, самое большее, — пять шпаргалок с ответами. Операция преступна, объяснять не надо. Но спасительна. Значит, надо, чтобы в ней участвовали самые что ни на есть надёги!

Кроме нас двоих, мы, конечно, избрали старослужащих, у них с артиллерией выходило туго! Конечно, Джурка Скок, Вовка Потников и Генка Шидрин. Опасность гуляла рядышком — ведь чем больше народу, тем выше опасность предательства. Предательства? А если застукают? Начнут допрашивать с пристрастием — откуда ответы, да ещё так мастеровски записанные? И вся наша подпольная группа полетит не только из университета. Поэтому, к примеру, несчастного сироту Борю Рябикова мы отмели без обсуждения по трём причинам: слишком слаб и прямодушен, за товарищей голову не положит, а раз сирота — государство его не кинет.

Мы завели себя в какой-то тёмный угол — всех нас, избранных к преступному действию неприступной верой в стойкость.

Формулировал я:

— Сдать желаете?

— Странный вопрос.

— Сдать с гарантией?

Согласные кивнули.

— Требуется клятва: никогда, никому, до конца, быть может, жизни.

Компания стала напрягаться:

— Я не шучу, дело уголовное, может, даже, политическое, правда, без политики.

Все глядели на меня набычась.

— Ну что? — тихо завершил я. — Каждый может отказаться. И сейчас отойти. Дальше только для согласных.

Сенгур и Коробкин подтвердили разом, и их решимость мне была по сердцу. Через мгновение операция началась. И, честно говоря, не все даже поняли, что же произошло.

Всё тем же чёрным ходом я завёл команду в аудиторию, противоположную месту, где лежали билеты. Это было, повторю, на той же площадке. Вся трудность состояла в том, чтобы я тихо открыл эту дверь, и тени соратников скрылись за нею. Скрытность перехода заключалась в том, чтобы не спугнуть старуху Изергиль, которая подрёмывала возле своей лампы. Там, в тишине и закрытости, спрятанные ключом с военной связки, будущие преступники приготовили умело нарезанные листки для шпаргалок. Их готовность была предельной. Остальное приходилось на меня.

Я пересёк площадку, вошёл в аудиторию, решительно подошёл к двери, где таились ответы, открыл замок, подскочил к столу, приоткрыл его и одним хапком забрал тонкие картонки с ответами.

Как тень, я метнулся назад, закрыл одну дверь, вторую, открыл третью.

На меня зырлили поделишки, но только тут я понял, что единственный дельник-то — это я. Они могут ответить, будто ничего не знали, просто переписали ответы, но откуда они и как, известно лишь одному.

Запоздавая арифметика окончательного расчёта не вдохновляла, но требовала решительных действий. Они состояли в скорописи, с которой мы списывали ответы. В отчаянной сосредоточенности сделать дело как можно быстрее и аккуратней.

Думаю, операция была исполнена максимум за двадцать минут. На этот срок я затаил даже дыхание. Будто нырнул на глубину, и пока не вынырну, жизни нет.

Страх оказался мощным и сильным двигателем. Вспышкой оказался копец: я снова держал в руках карточки с ответами, аккуратно сложенные одна к одной. Друзья выметнулись из аудитории, я закрыл за ними дверь, открыл другую, третью, приоткрыл стол и водрузил ответы на место. Закрывая дверь, увидел палача, и сердце моё рухнуло. Прямо напротив окна, ведь дело происходило на первом этаже, спиной к нему стоял на улице наш гигант-майор и с кем-то громко разговаривал, жестикулируя.

Верхние силы притормозили его!

Я метнулся, закрыв двери, подскочил к старухе Изергиль, и она что-то стала расспрашивать меня, с кем-то, к тому же, путая, я кивнул ей, отдал связку ключей, и она успела повесить их в застеклённый шкафчик.

Надо ли объяснять, что в другую секунду меня там уже не было, но из сумеречной тени, которая скрыла меня надёжно, я разглядел, как майор, освещённый солнцем, подошёл к столику Изергиль, даже честь ей отдал, хохотнув, и взял в свою камбалью ладонь связку ключей, навсегда запечатлевшихся в моих глазах.

Конечно, страх за содеянное не отпускал до самого конца. Ведь кого-нибудь могли застукать со шпаргалками — искусство пользоваться ими было у каждого своё, а ведь даются-то шпаргалки не по одной штуке, но всей пачкой сразу. И каждый заход, пока человек не вышел, это был риск для остальных. Может, ещё и поэтому я пошёл первым, получил билет, вытащил из брюк искомый ответ, спокойно переписал на листок грамотные слова и цифры, и похолодел, когда, не задавая никаких вопросов, даже, кажется, способствуя мне, меня поддерживая, майор Слинько аккуратно поставил мне пятёрку. И молча, но внимательно посмотрел мне в глаза.

Потом я не раз возвращался к этому мгновению. Но сначала страх, а потом шенячья радость удачи задвинули куда-то этот взгляд. То, что он удивился, сомнения не вызывало. То, что не хотел копаться в таких безупречных ответах, тоже казалось очевидным. А может, думаю сейчас, это были скрытая помощь нам? Стоило закрыть тот стол на ключик, и — всё. Но разве, опять же, можно было предположить почти военную операцию? От каких-то там мальчишек, которых сносит с ног свой собственный выстрел?

Последовали мучительные часы. Шпаргалки переходили из кармана в карман при моём участии. С каждой передачей они теряли своё качество, некоторые цифры расплывались от пота — ведь стояла жара, ну, и страх помогал.

Явился и риск: против всякого здравого смысла мы дали их Боре Рябикову.

Когда вышел последний, Игорёк Коробкин, выбрались во двор, совершенно по-дурацки озираясь, приблизились к сараю, где ночевала славная двадцатидвухмиллиметровая гаубица образца 1938 года и нашли пустую и большую консервную банку из-под американской говяжьей тушёнки.

Какая-то таинственная власть даже эту большую банку подкинула весьма кстати. Я вынул из обоих карманов брюк шпаргалки, сложенные пачками, и тщательно сложив, снова их пересчитал. Цифра — ровно сорок! — странным образом тупо рифмовалась с другой цифрой, и тоже — сорок. Нас было восемь, преступивших закон, и все странным образом получили по пятёрке. А пятью восемь — сорок. И билетов сорок. Ведь кто-то и где-то, хотя по иному поводу, обозначил же: сорок сороков! Но мы не могли это вспомнить. Может, из древнерусской литературы?

Я поджигал бумажки, и они сгорали в жерле банки из-под тушёнки. Друзья подсобляли. Шпаргалки были невелики, а сгорали удивительно радостно! Пых — и листочка нету! Пых — и только золотые останки на дне мрачного короба. Экзекуция совершилась стремительно, без всяких эмоций. Я похлопал по горячему доньшку банки, из неё выпал тепловатый прах... Кремация преступления совершилась.

Мы разогнулись. Кто-то подпрыгнул. Кто-то пробежался. Но все это — сосредоточенно, без радости, без слов. Будто веселилась стайка глухонемых. И тут из-за сарая с грозным орудием выдвинулся огромный майор. Как будто тень отца Гамлета.

На губе у него висела сигарета, они тогда ещё только входили в моду, — вспомните, речь про 1957-й год! — и свидетельствовала не столько о богатстве курящего, сколько о его связях и высоких предпочтениях. Мой-то папа по-прежнему курил дешёвую “Звёздочку”. А майор подошёл, улыбаясь, и сказал в двух интонациях сразу — весёло и недоверчиво:

— Ну что! С удачей вас, товарищи офицеры!

И отвернулся к сараю со своим орудием. Он шпарил своей горячей, яростной струёй на серые доски, за которыми таилось орудие, и нам вдруг показалось, что в этом заключен какой-то смутный символ.

— Да какие мы офицеры, товарищ майор, — выбрал я верную интонацию.

А помолчав, на глазах у согласных дружков подлил елею:

— Это вам за всё спасибо!

Подельники подтверждающе загудели, майор слабо улыбнулся и будто что-то выдохнул, свалил с плеч своих нашу тяготу.

— Пусть вам это никогда не пригодится! — ответил он.

А мы, опустив плечи, двинулись со двора.

5

По всем правилам-то требовалось вздрогнуть. То есть принять облегчающего. Но грех висел на нас так, видать, тяжко, что хотелось одного — разойтись в разные стороны, забыться и уснуть. Что и случилось. Даже группа неразлучников с коек, стоявших впритык в общаге, разбрелась по разным, выдуманному, конечно же, делам. Только мы с Миннибаем не могли оттолкнуться друг от друга. Припрятав свои чемоданишки за стулом старухи Изергиль, молча двинулись к Плотинке. Ну, нет, какие-то междометия и пустословные фразы мы произвели, но больше молчали, тоскливо озираясь. Будто досрочно освобождённые зэки.

Плотинка ещё не наполнилась жизнью, сумрак пока не опустился на деревья и кусты, вода ещё не зазолотилась медью угасающего светила, и пока не упал вечерний покров, перед нами представала обычная набережная. Однако в сумерки её мир оживал. Собиралась публика, говорила, совсем, впрочем, негромко, гитары и, тем более, переносные приёмники ещё не вошли в моду, молодяжки, впрочем, как и люди чуть постарше, двигался в разнонаправленных течениях, образуя что-то вроде гулянья, главным образом, вполне цивилизованного. Нет, вообще-то на Плотинке случалось разное — и крики, и драки, — но мы были непричастны к этим сварам и разумно удалялись в сторону Главпочтамта, оперного театра, Дома печати и далее — к штабу военного округа. Всё это составляло чудный пешеходный путь со скверами посередине, бренчащими трамваями, немногими тогда машинами и превеликим множеством людей мужского и женского рода, прежде всего, удивительно незнакомых, но и каких-то похожих, не чужих, вполне родственных.

А на Плотинке лавочек не хватало, да и занимали их целыми компаниями. Кроме сидящих, их окружали стоящие, и чаще всего стоял хохот, но не дерзкий, не громогласный, отрицающий право других на покой, а вполне сдержанный и оттого дружелюбный. Так было тогда! И лишь позже грохот гитар, а потом ручных приёмников оскорбит эту публичную благодать!

Нас потихоньку отпускало. Спадала жара, уходил в прошлое преступный экзамен, завершался предпоследний курс, и через денёк-другой всем предсто-

яло разбегаться по разным местам: мне надо было топтать домой, Минибаю — остаться здесь, до Хабаровска слишком далеко, и практику нам выдали облегчённую: сдай несколько публикаций и готовься к диплому. Впереди финал!

Конечно, Плотинка не выглядела никаким перекрестком, но в душах наших сидело вот такое осязание разнонаправленных, пересекающихся и сходящихся страстей.

Нам с Минибаем следовало бы рассуждать о Варе и Вале, возлюбленных, но далёких от нас планидах, но мы молчали, словно стыдились признаться если не в отступничестве, то в смирении, в чём-то похожем на сегодняшние шпартгалки, может быть. Всем кажется, что у нас полный атас и экзамен выдержан, но нам ли не знать, какое мы дерьмо!

И вдруг свалился Герман. Тот самый безрукий узколобый знаток иностранных языков и первый ангел, принявший меня на здешней земле. Может, и сейчас его кто-то послал? Он подошёл, и школьники, сидевшие рядом с нами, увидев безрукого человека, сразу освободили лавку.

— Давно я тебя не видел! — сказал он мне, кивнув и Минибаю. — С самого “Реквиема!”

Я запоздало, но с упоением поведал ему, как мы выдавили заднее окно в троллейбусе, возвращаясь с великого урока музыки, и он совершенно не удивился, будто обо всём знал.

— То ли ещё будет! — рассмеялся он, но сделал это как-то формально, словно смеяться ему было неинтересно, и не за этим он тут возник.

Он ведь непрерывно улыбался, этот оптимистичный Герман, улыбался он и сейчас, но как будто по чьему-то заказу. Сказал неожиданно, обращаясь не ко мне, а к Минибаю:

— Вам придётся ехать далеко, — потом перевёл взгляд на меня: — А ты вернёшься домой.

— Герман, ты цыган? — спросил я смешливо, но он не обратил внимания на мой сарказм.

— И всё у вас получится, как вы захотите. Только надо захотеть.

— А сейчас? — спросил Минибай, смеясь.

— Сейчас вы ещё не хотите как следует, — ответил Герман. — Хотите у вас пока поверхностное. Не конкретное, понимаете?

Мы не понимали и пошлялись втроём. Он спросил:

— А вы помните Бову Помяновского? Он же преподавал вам! Искусствовед! Произнёс на Моцарте вступительное слово!

Конечно, мы помнили его, но давно не встречали, откровенно говоря.

— Его избрали в Академию художеств! Он издал монографию про каслинское литьё! Вы знаете? — Мы знали. — Так вот, он болен. А какой блестящий человек!

И прибавил:

— Никто не становится исключением из правил.

— Каких? — удивился я, но Герман махнул рукой:

— Пока не для вас!

И рассказал, наконец, о себе. Он уже дважды женился. Разумеется, на выпускницах иняза, как и он сам. Оба раза развёлся. И, слава Богу, дело обошлось без детей.

— У меня не получаются дети! — погрустнел он, но тут же засиял своей непреходящей улыбкой. — Понимаете! Вот рук нет — это инвалидность! Всем заметная. А вот детей нет — за что? Вы можете объяснить?

Он удивлённо засмеялся. Будто зарыдал. На него стали смотреть прохожие. Тогда он захохотал. Не простясь, вскочил с лавки и, не обернувшись, ни сказав больше ни слова, побежал по асфальту куда-то в сторону театра.

Больше я не видел этого несчастного Германа с вечной улыбкой. Зачем тогда она была нужна ему?

Не то, чтобы расстроенные, но удивлённые странным явлением Германа, мы поднялись и медленно, гуляя в этой неспешной колонне, двинулись к центру, мимо “Совкино” и оперетты, потом перешли в сквер и сразу

наткнулись на Толика Пудоля. Он был пьян. И тоже одинок, как Герман. Тихий, улыбочивый, скромнейший из скромных, автор книг, изданных ещё в студенчестве, Пудоль не походил на себя.

— Ребята! — вскричал он нам. — Ребята! Куда вы пропали? Где вы? Почему?

Но он не ждал ответа, и нам не пришлось объяснять, что жили месяц в военных лагерях. Вопрос Толи носил безответный характер, ему было всё равно, где мы были, потому что ему требовалось что-то другое:

— Ребята! — говорил он, заплетаясь речью. — Мне надо выпить! Я угощаю! Пойдёмте!

Он с трудом держался на ногах, да и по той, первой выпивке мы знали, что Толик слаб по этой части. Мы взяли его под руки с двух сторон — он жил в паре кварталов от городского бродвея. И я, и Минибай несли всякую чушь, но гений журналистики и литературы, наш несомненный эталон, хоть и пьяным голосом, но стал излагать вполне трезвую печаль.

— Мне плохо, ребята! Михмих! Я не могу без него! Погубили фронтовика! Поэта! Патриота! “Эх, рябина кудрявая!” Народ тащится! Ну, полюбил человек женщину. За что партбилет! Позор! Освобождение! И он не выдержал! А я! А мы!

Пудоль сообщил то, от чего мы оказались вдали, но что на все лады обсуждал город. Милейший Михаил Михайлович, редактор молодёжки, покончил с собой оттого, что влюбился, будучи женат. И его стали дранить!

Да, да, тот самый Михмих, легенда газеты, которая нас приветила, излучая доброжелательство, получив за Джурку выговор — сколько шума было по этому случаю. И даже синяки на Джуркиной физици! И вот Михмиха нет! Даже, говорят, некролог напечатать не дали! Ну да, мы знали это, говорили в аудиториях после занятий, но смерть человека, которого почитали, скользнула вдали, как лёгкий шум поезда, пробежавшего вдалеке. Шум этот нас известил, но ничего не объяснил.

Каким-то странным способом образ пьяного Толи Пудоля поместился в один ряд с украденными пятёрками по артиллерии, безруким Германом, который явился, смеясь, в вечернем полумраке и в нём же исчез, рыдая.

Нашего гения мы не только довели до дома — он снимал крохотную комнатку в деревянной избушке, правда, с отдельным входом, — но и раздели его, и уложили на узенькую солдатскую кровать: спи, дорогой страдалец. Он сразу захрапел. А мы продолжили путь, оказавшийся долгим, полным странных знаков.

Возле магазина, где продавали велосипеды, иногда — мотоциклы, а больше всего — какие-то железки, в круге света, созданного небольшим прожектором, светящим со второго этажа, сиял легковой автомобиль и толпился народ.

Когда мы приблизились и поинтересовались, нам, как непросвещённым, перебивая друг друга, возбуждённые мужики разного возраста стали объяснять, что в круге света стоит “Победа”, а в магазине можно записаться в очередь на покупку.

— Почём же штука? — сострил Минибай. И нас просветили, что цена штуки шестнадцать тысяч, а народ толпится здесь, чтобы разглядеть авто подетальнее — в конторах-то всяких, у начальства, она имеется, но гражданам до сих пор не полагалась. Вот и хочется увидеть первого покупателя.

— Увидели?

— Нет, но это народный артист из оперы! Заслуженный человек.

— А очередь-то есть? — пытали мы.

— Какая очередь, парень! У кого такие деньжищи? У солистов! У академиков! Их же сразу заплатить надо! В кассу — и всё!

Мы пофыркали, обошли толпу, и ничто нас не задело, не царапнуло — одно разве уважение к большим артистам и учёным. Они-то заслужили! Да и заработали! А нам? Мы быстро посчитали: если по 200 рэ в месяц всю нашу стипендию собирать, понадобится восемьдесят месяцев, почти семь лет, ха-ха! Да ведь и народ-то у магазина, хоть и разные там люди торчали, ни на

что не посягал. Даже не мечтал. Только любопытствовал. А уж студентам-то — куда? Какие там машины!

Перед самой общагой, на углу, под уличным фонарём со ржавой шляпкой, возле деревянного домика с садиком за забором нас ждал ещё один сюрприз. Да и какой! Под фонарём стояли два солидных человека и, кажется, слегка покачивались. Мы изготовились их обогнуть, как один из них воскликнул, и не просто знакомым, но очень уважаемым голосом:

— О! А вот и наши мальчики!

Это оказался голос Бориса Самуиловича, с которым бодро и тоже знакомо перекликнулся Бова, о котором только что говорил нам Герман на Плотинке:

— Пока — мальчики! Скоро — мужи!

Мы остановились, здороваясь, а наш завкафедрой пояснил необходимое:

— Вот были в музее Бажова. У дочери покойного Павла Петровича.

Она нас приняла.

— Бывали тут? — уверенный, что ответим положительно, спросил наш искусствовед.

Проще всего было соврать, мол, естественно, тем более до общезнания — сто метров, но я рискнул изложить свой довод.

— Боюсь, — ответил я, — потерять хозяйку Медной горы. Ей ведь место не в музее, а в голове, а лучше — в душе.

Минибай согласно кивнул.

— Вот те на! — воскликнул искусствовед. — Смотрите-ка, наши мальчики-то — взрослые мыслители.

— В музее, мы уверены, интересно, — поддержал меня Минибай, не напрасно избранный комсоргом, — но писатель и его герои... — он чуть задумался, — бывают так непохожи!

— Вы правы и неправы, — доброжелательно проговорил Борис Самуилович. — В музее — знание, в сердце — чувства. Они не противоречат друг другу.

— А что, — спросил я его, указывая на скромную памятную доску, висевшую на доме, — будет теперь?

Так расплывчато я высказался специально, не договаривая и подразумевая надпись, но оба поняли без слов.

— Про Сталинскую премию? — ответил Бова. — А вы не знаете? Её переименовали в Государственную. Теперь меняют наградные знаки.

Мы с Минибаем как-то враз поперхнулись.

— И меняют? — нарывался я.

— Меняют! — во всё том же атакующем стиле ответил Бова. — Ещё как!

— А Бажов? — подъелдыкнул я. — Ведь он уже не сможет.

— Ему без него поменяют, — ответил искусствовед. — А ты бы, Борис, поменял? — оборотился он к сотоварищу.

Тот хмыкнул, довольно строго помолчал, а потом ответил очень даже всерьёз:

— Задним числом время и события изменить ещё никому не удавалось.

Такое высказывание не было легко усвояемым материалом. Но нам ведь его и не требовалось усваивать. Мы сами были этим материалом.

А он, между тем, сказал вещи слова. Кто и как может развернуть время вспять? Если даже включить все радиостанции и все печатные машины? А Бажов за свои сказы, а не сказки, получил Сталинскую-то премию прямо во время войны. Она была выше всех наград! Значит, кто-то понимал и принимал его работу!

Как же всё это выясненное в конце дня, под уличным фонарём, не совпало с нашим утренним шулерством! И до чего же совместны могут быть человеческие низины и высоты...

Окончательно повзрослев, немало повидав, попив и поедав, я мысленно сравниваю тот долгий день с восточным шампуром, на который нанизаны и кусочек сердца, и горький перец, и плотская мякоть бесстрастного филе, и умолкнувший, но шершавый язык.

Прожаренное на угольях житейских событий, пережёванное острыми молодыми зубами, проглоченное в жадное чрево предстоящего, эта шашлычная разнородность одну лишь истину утверждала: всё съедобно, всё перевариваемо и всё впоследствии извергаемо вовне ради того, чтобы снова кому-то страдать, лукавить и биться за правду. Судить и быть судиму.

Не это ли смешение и есть содержание духовного сосуда, на котором изречено: “Нет правды на земле, но нет её и выше?”

Но такие обобщения приходят позже, годы спустя, сквозь испытания и опыт. А тогда, пару раз обернувшись на дух мужчин, по-прежнему стоявших под фонарём, мы похмыкали, поохали, повздыхали, добрались до комнаты, где свет уже был потушен, и бухнулись в сонные глубины.

7

Кто-то из них, точно не помню, но по логике — Бова, наш знатный Помяновский, как нескрываемый прагматик, — сказал тогда у фонаря:

— Ну, вот вы и вышли на финишную прямую. Пятикурсники! Пора выбирать место действия! Время вам выбрано и без вас!

Да уж, место действия... Кто, куда и зачем двинет после этих стен — это не давало покоя никому, только говорить о таком принято не было, словно мы боялись сглаза. К тому же существовало распределение. Мы считались кадрами партии, ведь все газеты принадлежали ей, до самой последней районки. Даже заводские многотиражки не составляли исключения. Так что некоторый припуг имел место, а шёл он всё от того же доброжелательного завкафедрой Бориса Самуиловича.

Не раз и не два он говаривал на лекциях своих, в коридорах, на собраниях: позаботьтесь, мол, сами о своём распределении. Если вас могут взять редакции, где вы прошли практику, пусть посылают официальные запросы. Опытные вели себя опытнее. Яша-моряк давно показывал вызов от газеты Тихоокеанского флота и первым сдал на кафедру сия почтенную бумагу. В первые дни осени получит такую же гарантию Минибай из Хабаровска. Скок, как женатый, оставался при жене по месту её учёбы, но и его пригласило на работу наше первое гнёздышко при содействии Толи Пудоля. Целый окоп вырыла себе Муза Воробьёва, хотя член-корреспондент и умный развратник съехал из места ссылки в первопрестольную. В общем, шевеленье происходило самое энергичное, а я не торопился. Впрочем, этому же предшествовала моя каникулярная поездка домой, новая встреча с милейшим Леонидом Демидовичем, его толстый палец, моё покорство и просьба не столько послать бумажку в университет, сколько дать поработать.

И мне дали! Отдел информации, состоявший из двух человек, резко возрадовался, что появился практикант, да ещё пятикурсник! Заведующий рванул в отпуск, а его единственная подчинённая отправилась на длительный больничный, хотя её голос то и дело слышался в буфете.

А я был рад! От меня требовалось раз в неделю сварганить информационную страницу и каждый день сдавать в секретариат разнообразные заметки соборов, присланные из районов, и прочие любопытки, что я и делал, загружая машбюро информационной мелочью.

Меня все уже знали, особенно в машбюро, были уверены, что я приеду именно сюда, — приветливый мальчик с настоящим высшим образованием. Таких здесь водилось негусто, зато все образования заменял многолетний опыт. Впрочем, эти познания газетного бытия, уже не новые, но всё-таки лишь только слагались в нечто важное, и я жил половинчатой жизнью: ещё студент, но уже на казённом коште — мне положили на месяц полноценную зарплату. Те недели слились в странное сочетание: я радовался дому, маме и отцу, от которых уехал в неведомое столько лет назад и был уже слегка самостоятельным. Свои заработки я небрежно выкладывал на мамин комод, вызывая этим искреннее восхищение.

Родители читали газеты, выписывая их, но ничего не знали про газетное дело, и я по вечерам, — иногда, но всё же, — по порядку рассказывал им, как на самом-то деле делается этот шуршащий газетный лист, какие следу-

ют перед ним труды, а главное, какие могут быть последствия. Мне казалось, они поглядывали на меня недоверчиво, волновались, как получится моя самостоятельная жизнь, но беспокойство отступило перед бесконечной шаловливостью моего младшего брата, с которым меня разделяло целых четырнадцать лет! Я с какой-то неясной радостью ощущал себя отрезанным ломтем. Почти отрезанным. Вот захоти я сей же момент написать письмо Хлебникову и Косте Немухину, как мне вышлют вызов, подъёмные, и я окажусь на краю света, может, даже, на всю жизнь, и уж там-то меня не оставят без присмотра. Но порядочность звала вернуться домой. И что?

Выползали вопросы, лишённые самой элементарной уверенности: где мне жить? У родителей? А дальше? Кто я вообще-то таков? Ну, сейчас лёгкий на подъём студентиншко с приготовленной работой. А дальше? Всю жизнь с родителями, при них, возле них — всё ли это, что требуется молодому парню любых качеств? Я отмахивался от взрослости, лето кончилось, мы вернулись к учению, и вот тут я как-то неосознанно взгляделся в Джурку Скока.

Он сидел рядом со своей жёнущкой Алёной Грачёвой, женатый, прописанный у неё дома, которым правили очень солидные и взрослые люди с твёрдыми укладами, главный среди которых — наш почтенный профессор.

Алёна была не то, чтобы избалованной, но освобождённой, что ли. Она не думала о еде, об одежде, о деньгах — за ней ходили, её холили, кормили, хвалили, да так, что она кинулась на шею Джурке, и оба они повисли на шеях Алёнкинких родителей. Конечно, нас мало занимали такие мысли, к тому же я знал, Скок получает от родителей солидные переводы и обладает, таким макаром, независимостью.

Похоже, это был если не другой вагон, то другая вагонная полка. Она не вызывала интереса, но имела место. Я просто глядел, как они воркуют, как Грачёва, сменившая фамилию, стала самоуверенней, энергичней, даже слегка нахальной. Чего-то она добилась. А Джурка? Тот тоже сиял своим крупным масляным ликом, был дружелюбен, но — внешне. Нас теперь не касалась его частная жизнь, да кто бы об этом и спорил? Но не могли не рождаться соображения и о собственной жизни.

Девицы разных пород и курсов, бывало, и причаливали к нам у подоконожников и в свободных аудиториях, но никто из них не мог сравниться с нашими полудисчезнувшими подругами. Да и непросвещённое отродье женского рода тут же откуда-то узнавало, что мы с Минибаем вообще-то люди занятые. Можно сказать, полуженатые. Но, как всякий домysel или сплетня, сведения эти сильно хромали.

Сначала мы просто жили частой перепиской. На военных сборах конверты приходили каждый день, остальные каникулы, как ни удивительно, притормозили частоту, к осени, с возвращением к учёбе дело возродилось, но стало страдать повторяемостью фраз и выражений. То друг мой, то я забывали вовремя ответить на послание и ужасались.

Странное свойство человека: чем громче он ужасается, тем меньше верит в свой ужас.

8

В октябрьские судьба потребовала решения.

Лекций, да и прочих занятий не было, но университетские двери, как и часть аудиторий, оставались беспечно распахнуты под ответственность неисякаемой старухи Изергиль. Она сидела на своём стуле у изогнутой лампы и только смотрела на входящих. Ресурс её памяти был беспределен, она сходу определяла, свой или чужой. Но что могло завести чужаков сюда в праздники? Так что она просто смотрела, одних равнодушно про себя отмечая, другим улыбаясь вежливо или с чувством.

В общем, мы сидели в самых непринуждённых позах — всё та же компания, сведённая странной прихотью неведомых нам обстоятельств, рассуждали о темах дипломов, за которые следовало бы уже и браться, о двух госэкзаменах, которые грядут по весне будущего года, и всякой прочей совершенно

необязательной ерунде. Словом, наслаждались привилегиями пятикурсников — ведь лекции наши завершались, артиллерия миновала, оставив потные воспоминания и военные билеты с вписанным туда воинским званием: младший лейтенант, и мы позволяли себе всю возможную необязательность, порой называемую “факультатив”.

Братия делилась на три части. Едва ли не впервые отделению журналистики позволили, чтобы выпускники защищали творческие дипломы. Например, цикл очерков, объединённых одной темой и обязательно напечатанных. Груша интервью, статей, бесед. Впрочем, даже кафедра во главе со славным Борисом Самуиловичем трудно представляла, каким манером произойдёт защита такого рода трудов, и склонялась к традиции: такая-то тема в такой-то газете или журнале, желательно старых лет. Самую значительную часть составляли колеблющиеся.

Сбить людей с толку, как выяснял я всю дальнейшую жизнь, сподручнее для управляющих. Когда что делать не знает большинство, проще всего впарить ничем не испытанную лжеидею, от которой потом все будет плевать-ся. Но это — потом.

В консерваторы же я подался, ещё не разумея таких серьёзных истин. Выбрал историю журналистики своего родного края, да ещё в XIX веке, что кроме тревоги за незнания свои, пока ничего не сулило, разве что долгую поездку домой.

Джурка Скок, к примеру, был переполнен творческими надеждами. Очерки, за которые он получил по морде, всё-таки были напечатаны, хотя и с выговорёшником редактору, и их можно было доработать с учётом критики. Всякие новые большие стройки на Урале и в Сибири объявлялись одна за другой, хоть и не так буйно, как это будет пару лет спустя. И мы все признали его путь самым полезным для него, да и для кафедры, которую всё поклёвывали где-то в верхах за творческое отставание от быстротекущей жизни.

Однажды в ту пору, вполне бездельную, не просто забрёл, а бодрым шагом зашёл Зиновий Абрамович, наш газетный маэстро. Ну, тот самый Зиновий Абрамович! Которого мы, закрывшись в фотолаборатории, пытали, как нам осознать закрытое письмо XX съезду. Он так и оставался у нас личностью доверенной, ни разу никого не обидел, кажется, даже сам опасался, кто бы не обидел его.

Похрустывая пальцами рук, он спросил, в курсе ли мы, что величайший в мире шагающий экскаватор, цепляющий груз для целого вагона за раз, делается на нашем Уралзаводе. Разумеется, не все об этом были осведомлены.

— А знаете ли вы, — воскликнул он, — что завод намерен выпустить этот экскаватор с двумя ковшами? Такое произойдёт впервые в мире!

Из тех времён, когда я это пишу, самым ласковым и сверхинтеллигентным ответом на такую горячую новость можно полагать что-то вроде классического: “Что он Гекубе, что ему Гекуба”? Или же: а какая мне-то польза от этого? Или же — на информашку потянет, только кому она нужна? Угольщикам?

Однако мы жили в иное время и, хотя были столь же далеки от экскаваторов, как и нынешнее племя, выращиваемое для чего-то похожего, было внутри нас ещё что-то! Мы ещё почти не знали, что такое выгодность, наплеизм, равнодушие! Нам хотелось всего, но новые штаны и красивые платья не исполняли в этих мечтах главных ролей! Мы не были причастны к экскаваторам, но не остались безучастны к замечательному сообщению.

И что это являло собой в общем и в целом? Отвечу одним словом: жажду.

Мы не выражались лозунгами и призывами, это делали другие. Таких мы встречаем не раз, да и сами нет-нет, да и сорвёмся в словесный искус. Но мы тогдашние, только ещё оперяющиеся птенцы, хотели новизны и ждали применения нас самих в делах, которые принадлежат не нам лично, а всем!

Из-за спины, может, даже из тьмы выступало наше такое недавнее собственное прошлое, хотя о каком прошлом можно толковать в двадцать лет?

Однако оно было! И у меня — было! И отец, прицеливающий мне значок ГТО на мою рубашонку, уже на пороге, с мешком на плече, уходящий в войну, и мама с зелёным лицом, после того как сдавала кровь и вела меня в донорский магазинчик, чтобы положить сладкий кусочек топлёного масла в клюв своего цыплёнка, и угарные обмороки, и шакалы из восьмой столовки, которые просят, кивая на похлёбку: “Мальчик, оставь!”, и концерты в госпитале — их спёртый воздух и чьи-то взрослые стоны, приглушённые дверью палаты, за которой раненые. И книги наши волшебные, и спорт, и Сталин, тоже глядящий из тьмы, — он смотрит без всякого недоумения, будто всё знает наперёд, что станет после него, но мы-то — кто?

Те, кому всё равно?

Это случилось ко мне в совсем не подходящий момент, без всяких оснований. Но в ответ же, в ответ! В ответ на слова старого еврея, о котором вот именно так мы и думать себе не позволяли, но зато восторгались в согласии с ним, радовались этому невиданному экскаватору, как родному, и хотели — очень хотели! — чтобы всё у всех получилось!

— Почему бы, — сказал наш учитель, — вам, без пяти минут выпускникам, не позвонить конструктору, который всё это придумал, и не пригласить его в университет? Позвать, чтобы он рассказал об этом чуде?

Именно такой поворот вызывает удивление. Как добраться до него? А если откажет?

— Нам — откажет! — вскипел умный старец. — Вам — никогда!

То ли у меня глаза горели ярче, то ли я сидел поближе, но он воззрился на меня и сказал вызывающе:

— Вот вы! Слабо позвонить и пригласить? А мы поможем!

И я пошёл. Меня конвоировала целая толпа во главе, конечно, с инициатором. Кафедра, куда заскакивали на минуту, обернулась домом родным, и мне тут же подунули и номер, и трубку. И имя-отчество, с кем говорить. Это был Химич Георгий Лукич, самый что ни на есть главный конструктор.

По ту сторону провода оказалась, естественно, строгая, но терпеливая дама. Она выслушала меня, записала телефон кафедры и обещала скоро перезвонить. Мы хором вздохнули, полагая, что на ожидание уйдёт пара дней, но не успели выйти из помещения, затрещал звонок. Кафедре сообщили, что главконструктор ждёт студентов завтра в такой-то час. Желательно с письмом. Спросили мою фамилию, а я прошипел, чтобы прибавили Минибая и Скока. Но они не поехали, а в трамвае до Уралзавода я выслушал воспоминания Зиновия Абрамовича, который порассказал за долгий путь, у каких великих индустриалов он брал интервью в молодые годы. Фамилии и имена сыпались на мою голову, почти ничего мне не объясняя, но по сверкающим очам собеседника я понимал, что эти люди — настоящий золотой венец. Не раз он упомянул “Вагонзавод”, делавший Т-34 на войну, а во мне, навивном, совершалось малоопытное раздвоение: ведь вагоны и танки так не походили друг на друга.

В проходной завода наши личности долго сверяли с паспортами хмурые охранники, потом нас повели по лестницам и переходам, наконец, мы вошли в огромную приёмную, а затем и в небольшой кабинетик. Далее возник перед нами седой и утомлённый человек. Увидев моего учителя, он облегчённо заулыбался, а ведь я и не знал, что они знакомы, потом, изредка взглядывая на меня, в целом пояснил идею, указывая на кульман, где висел чертёж с общим видом двухковшового экскаватора.

Учитель, приобняв меня, поощрил к изложению просьбы: университет и его студенчество просили бы выступить в актовом зале с рассказом, доступным для неинженерного вуза, о новом проекте.

Я передал письмо, Химич поводит пальцем по календарю, назначил день и час, а мы пообещали, что будет человек пятьсот и типографская афиша. Мой старший спутник спросил, как бы показать залу чертёж, но тот помотал головой:

— Проект пока закрытый, приготовьте простую доску и мел — я начерчу силуэт. Подробнее — нельзя.

Эти слова запомнились мне больше, чем наш визит, да и последующее ли-

кование: главный зал был набит под завязку, легендарного конструктора приветствовал лично ректор, член-корреспондент Академии наук по химии, и оба они после лекции возбуждённо жали мне руку, забыв зачем-то про Зиновия Абрамовича, что казалось мне совершенно несправедливым и неэтичным.

В день торжественной лекции об экскаваторе с двумя ковшами как небывалом достижении развитой индустрии я заранее оповестил дружков: наш корпус обойду вообще и буду находиться поближе к залу, где ещё могут возникнуть вопросы, за которые отвечаю я. Да! Ведь именно я — раз он знал меня в лицо — и должен был встречать великого конструктора, лауреата Сталинской премии и вообще знатного человека. Вместе с ректором. К этому мероприятию следовало не только морально подготовиться, но и физически отдохнуть.

Поутру, побрякав ложками в своих железных кружках, потоптавшись, поболтав, может, чуть и сдержаннее, чем обычно, мои дружки притворили дверь.

Я продолжил утреннюю негу.

Ах, как прекрасны молодые сны! Вроде бы зачем спать, если ты переполнен силой, интересом к жизни, исканием истин, и уже знаешь, что существование слишком коротко, надобно не валяться, а торопиться, гнать из всех сил, чтобы успеть сделать что-то самое важное, что самому-то неведомо, незримо, потаённо, но лишь пока!

Ещё немного — и всё откроется, смысл, как сезам в сказке, отворится, и ты обретёшь богатство своё — каким оно будет? Хорошо бы ясным, добрым, счастливым!.. Но оно может оказаться и в ином обличье — тягостным испытанием, назначаемым тебе, чтобы другим стало легче, но кому и почему — ты не скоро узнаешь!

Может явиться чередой твоих и чужих грехов, а чтобы одолеть их, придётся много сил и разума собрать в душе своей, обучиться терпению, освоить глубину явленного тебе, обрести кротость и прощение...

Но сон молодой прекрасен своей отстранённостью от бренности бытия — вот что!

Тело твоё распластано и незащищено, а ум бродит в неведомых страстях, которые никогда не понять и которым можно только дивиться... А всё вместе — это собрание сил для чего-то необычайного, жданного и желанного.

Я проснулся от хлопка двери, и меня кинуло в ужас.

Передо мной стоял на моих глазах сошедший с ума Венька Северов и улыбался.

Я снова был в майке и трусах, то есть совершенно незащищён, и сел на кровать свою, а он стоял в демисезонном пальто, ботах “прощай, молодость”, снимал шапку-ушанку и всё улыбался.

Но ведь Венька в сумасшедшем доме! А я был среди тех, кто увозил его. И я спасал от него усы доктора Айболита, а Венькино сумасшествие состоялось в соседней комнате. Почему же он зашёл в нашу? Да и что вообще с ним? Сбежал из больницы? Тогда что же будет? Ведь я видел его буйство и участвовал в его укрощении!

Закоченелый от неожиданности, я поднялся перед Венькой, босой, раздетый, перепуганный, еле разлепил губы:

— Тебя выписали?

Он кивнул головой:

— Теперь вот поеду домой. Купил билеты. Зашёл попрощаться.

Он говорил самым обычным голосом, но вот лицо его было узнаваемым с трудом: опухшее, одутловатое, набрякшее чем-то тяжёлым.

Я натянул одежду, предложил, чтобы он разделся и сел на соседнюю кровать. Он не разделся, но сел, а на меня глядел какими-то виноватыми, собачьими глазами. Я пришёл в себя, признался:

— Ты меня напугал!

— Ну да, — ответил он, — ты ведь ещё и спал.

— Прощёл почти год? — спросил я.

— Да больше. Это врождённое. Оно будет повторяться, так что надо до- мой и там как-то устроиваться.

Говорил он совершенно здраво, но смотрел на меня по-прежнему ви- новато.

— Вень! — сказал я. — Ты извини, что мы редко тебя навещали.

— Да ты что? — ответил он. — Там — знаешь... — Он помотал голо- вой. — Полно народу, про которых все забыли. Так и помирают!

Я эти слова встречал без всякого понимания. Слышал — и всё. Понять было трудно, точнее — невозможно. Мы жили в обыкновенном мире, а Венька вышел из мира неведомого. И требовалось время, чтобы привык- нуть, понять, как нам разговаривать-то друг с другом.

— Ты уезжаешь сегодня? — спросил я.

— Через пару часов, — ответил он.

— Оставь адресок хотя бы, — предложил я.

— Зачем? Кому надо, знают. А вам жить дальше. Передай всем привет.

И ещё передай мои извинения.

— Это же болезнь, — сказал я, — за что извиняться?

— Напугал вас! Хотя ничего и не помню.

— Может, — спросил я, — виновата опера? Сцена, костюмы, князь Игорь?

— Это вроде спускового крючка, — сказал Венька. — так мне врачи объяснили. Копится, копится в человеке болезнь, потом — раз! И выстрел!

— А мы сегодня, — сказал я, чтобы хоть что-то сказать, — встречаем- ся с главконструктором Уралзавода. Они придумали шагающий экскаватор с двумя ковшами.

И Венька легонько так толкнул меня в тушик:

— Зачем — два? Он и один-то с трудом поднимает!

Я поражённо посмотрел на Веньку. Спросил:

— Да ты понимаешь?

— Да я-то понимаю. Мой отец экскаваторщик. Правда, он на простом, конечно, работал. Но большом.

Мне было не по себе. После обеда предстояла торжественная лекция, главный конструктор, гигантский завод, а Венька, несчастный, конечно, че- ловек, но он же из больницы и разве можно серьёзно говорить с ним о ве- щях, ему недоступных! У меня оставался один путь — одеться и уйти из об- щественности.

— Пора! — сказал я, и он кивнул — опухший человек с собачьими глазами.

— Простите меня, передай, пожалуйста, всем! Не забудь!

Мы пошли к выходу, и по дороге я обмолвился, что иду в главное зда- ние, где ректор и актовый зал.

— И ещё большая библиотека, — сказал Венька мечтательно. — Мне уж там не бывать!

Я рассеянно кивнул.

— Ты знаешь, — спросил он все так же доброжелательно, — что в на- шей библиотеке хранятся книги из Царскосельского лицея? Их эвакуирова- ли, когда немцы подходили! Они здесь! На Урале! Их наш университет спас! Ты понимаешь?

Я, конечно же, понимал. И как почти все, бывал в главной библиотеке. И нас водили в задние комнаты, показывали старинные переплёты, позволя- ли взять книги в руки, полистать.

А Венька всё восхищался:

— Их ведь мог читать Пушкин!

— Да! Да! — покивал я.

— А ты нюхал их? — спросил он неожиданно. — А ты их целовал?

Я споткнулся и посмотрел на Веньку внимательнее, чем следовало:

— Нет, — виновато улыбнулся он, — я не сумасшедший. Но я нюхал их. И целовал! Как можно не целовать следы Пушкина!

— Даже такие? — спросил я размячённо.

— Даже такие.

На остановке я сел в троллейбус до главного здания, Венька пересёк улицу, чтобы двигаться к трамваю, шедшему на вокзал.

Перед этим мы обнялись. Как-то это получилось неожиданно. Вдруг я почувствовал себя виноватым перед этим Венькой. Никогда я не обнимался с этим парнем, да и знал-то его кое-как, пока не вбежал тогда в комнату, где он пел арию князя Игоря, кидал кровати и куда пришёл Айболит. Но тут мы обнялись. У Веньки в глазах стояли слёзы. Он не со мной, конечно, прощался. А со всем, что было у него тут раньше. И это им прожитое было мне совсем не известно.

В смурном состоянии я приехал к главному университетскому корпусу, зашёл в столовку, перекусил, но времени до лекции было ещё полнѐхонько.

Я куда-то пошёл, а оказалось, приобрёл в библиотеку. Это была та самая библиотека. И вёл меня туда, конечно же, сумасшедший Венька.

Пришлось постучаться в кабинет директорши и похитрить, во-первых, торжественно представившись, а во-вторых, пригласив на актовую лекцию главного конструктора Уралзавода.

Тётенька, толстая, как квашня, с васильками в глазах, — а известно, что толстые люди бывают добрыми. — расплылась улыбкой, и я утонул в уточняющих вопросах, хотя внизу висела афиша, напечатанная университетской типографией. Потом попросил допустить меня к Лицейским книгам. Доброжелательство ко мне ещё более окрепло, мне вызвали сопроводительницу, и вот...

И вот я хожу между застеклёнными шкафчиками, вольно открываю дверцы, трогаю краешками пальцев позлащённые корешки. Авторы классические, старинные до такой степени, что неизвестны мной, пятикурсником историко-филологического факультета-то!

Ну, и пусть! Не знай, но вдыхай запахи аж XVIII века, прикасайся, как сказал сумасшедший Венька, к томам, которых только мог — но мог же! — касаться Пушкин.

Я нашёл Державина. Не такой уж и солидный том в сравнении с другими. Но ведь это перед ним кудрявый лицеист читал свои стихи! Я понюхал Державина.

И я его поцеловал, сперва обернувшись по сторонам.

А говорят, сумасшествие не заразно!

Поразительно, но факт! Шагающий экскаватор с двумя ковшами так никогда и не построили по неведомым причинам.

Неужто и это сумасшедшим было понятнее, чем разумным? Да ведь и каким разумным!

10

Вот в эту пору — ученья, почти законченного, дипломных работ, выбранных лекций, посещения необязательных открытых дверей в аудиториях, речей неостановимых — бурного потока всего, что можно назвать общим словом «вольница», со мной произошло событие, можно сказать, решающее.

В распахнутой двери появилась Варя!

Болтовня умолкла, сообщество онемело, воззрилось на меня, и я вышел в полутёмный коридор.

Она улыбалась, выражала приветливость и доброжелательство. Не давая мне тратиться на удивлённые вопросы, помогла:

— Вот приехала! К тебе.

Мы спустились вниз и тормознули у столика старухи Изергиль. Та вскочила, сверкнув партизанской медалью, и забыв, как зовут Варю, всё-таки в две минуты допросила её — где теперь, да что — и только ахала, узнавая: эта красавица в деревне и учит ребят химии. Пока они любезничали, я оделся, вернулся к столику, и Изергиль опять оглядела нас вдвоём. Улыбалась, но головой-то качала. Не поймёшь, осуждая или ободривая.

Подшёл трамвай. Я уже знал, что едем к Вариной подруге, которая оставила ей ключи, а сама, понятное дело, исчезла.

Забавная особенность: этот громадный город, по ночам обжигающий тучи сиянием горячих струй металла из гигантских печей, город довоенного модерна в архитектуре, пришедшего издалека, издали слышимых буханий незримых молотов, был переполнен множеством деревянных домиков-малышей, занявших собой все щели между чем-то значимым. И в этих избушках обреталось большинство! Наверное, только избранные начальники знали комфорт и всяческие удобства. Остальной миллион — или сколько там? — жители проживали в домишках, часто прикрытых деревянными крышами.

Мы вошли в такой домик, и я удивился, что стол уже накрыт, очень любовно, конечно же, на двоих, и мы, умывшись под деревенским рукомойником, уселись за него.

Собственно, всё, что я произносил по пути, было телячьим мычанием на самые примитивные темы: как доехала, как дела в школе и что за село, куда направили Варю аж на целых три года.

Она отвечала весело, смеялась, рассказывала какие-то подробности деревенского привыкания, но поцеловались мы только в этой комнатушке, едва сбросив пальто. Произошло это не горячо, как когда-то, а, скорее, в новинку, будто всё начиналось сначала, но сдержанно. Хотя и беспрепятственно.

Варя усадила меня за стол, налила винца, это оказалось что-то десертное и мной не любимое, я пригубил, но не выпил.

И она, и я будто знакомились снова, и тут она сообщила:

— А я поросёночка завела!

Я даже вздрогнул: какого поросёночка, зачем? Оказалось, самого обыкновенного, чтобы выкормить, а потом... Что потом — подразумевалось, но и объяснение нельзя было не услышать: школа, куда её послали, хорошая, а учителей не хватает, и она, кроме химии, принялась преподавать немецкий язык и даже физкультуру, как самая молодая и, значит, подвижная, ну, и зарплата набегает достаточная. Что же касается поросёночка, то их откармливают все учителя.

На меня дохнуло чем-то далёким, испытывающим, даже неодолимым, но мне не знакомым.

После ужина мы снова яростно целовались, а кроме стола и стульев, другой мебели в комнатке не было, так что мы уселись на высокую кровать. Я даже не знаю, какой уклад жизни эта кровать собой являла. Похоже, там было несколько матрацев один на другом, несколько одеял стёганых, а сверху ещё и несколько суконных. Её содержимое открылось, когда Варя, чтобы не смялось, сняла покрывало. Подушек тоже была уйма, в общем, я только позже сообразил, что, может, эти матрацы, одеяла и подушки предполагалось с кровати класть на пол, когда приезжало много гостей.

Да, да, мою голову занимала вот всякая такая ерунда, и между этими незначительными мыслями, их жалкими останками, мы улеглись на широкое ложе, и мы опять целовались, но всякая моя настойчивость решительно пресекалась. В паузе между поцелуями она сказала, что в полночь у неё поезд. Я не мог ей ответить, мол, давай тогда поторопимся. Что-то удерживало меня.

— Зачем же ты приезжала? — сумел я обозначить происходящее.

— Посмотреть на тебя, — ответила она.

А помолчав, я узнал главное:

— Приезжай ко мне в деревню. На каникулы. И тогда будет всё, что ты хочешь.

Дурак, я не удержался:

— И жареный поросёнок?

Она глубоко посмотрела в меня своими чудесными глазами и ласково ответила:

— Ну, если ты скажешь!

Что я должен был думать? Варя всегда была ласкова и добра, если она не соглашалась, то отводила разговор в сторону. Но кроме того, в тот вечер она дала мне понять, что я ей нужен, а мне надо выбирать. Ведь Варя старше меня. Может, и умней.

Мы опять ехали на трамвае к вокзалу, и я только тут увидел в её руке городскую сумочку, может, даже из прошлых времён: небольшую, изящную, в которую можно положить только паспорт, помаду, да немного денег. Я спросил:

— Тебе надо денег?

Она рассмеялась:

— По сравнению с тобой, я богата, как царица! Я ведь учительница!

И заплакала.

Вот так мы расстались, у ступенек тёмного вагона, под Варины слёзы сквозь её улыбку, так что проводница утешала:

— Ничего, девушка, всё образуется.

На меня, при этом, не посмотрев. Выходило, я был в чём-то виноват. Мы поцеловались. Как оказалось, в последний раз.

В общагу я катил в привычном ледяном трамвае, и меня встретил озабоченный друг Минибай:

— Ну как?

— Да ничего, ничего, — петушился я.

А потом, когда остались одни, сказал неуверенно:

— По-моему, она попрощалась со мной!

Друг же мой попрощался со своей Валеёй намного раньше.

Будто мы — и я, и он — выпустили из клеток не нам принадлежащих красивых птиц.

II

Оставшийся семестр помнится плоховато, как будто заштрихован тем моим забытым ретушёром.

Может, потому что наставляла какая-то поспешность, преддверие взрослых хлопот. Защита дипломов, их публичность, радости и обмытия утаились от меня той причиной, что я писал свой труд дома, рылся в библиотечных подшивках древних лет, да и руководителем-то моим, по согласию вузов, стал местный профессор, милейший человек, который по какой-то причине отнёсся ко мне с пиететом, недостойным моей персоны. Тем не менее, я много переделывал по его наставлениям, рукопись диплома вышла довольно пухлой, с обширной библиографией, да ещё и любовно переплетённой под мудрым руководством моего грядущего патрона Леонида Демидовича. В результате я оказался последним, кого-то раздражал своей медлительностью, что не полагалось, и диплом мой передали на сторону здешнему знаменитому знатоку. Кафедра, то есть, конечно, Борис Самуилович и Зиновий Абрамович, поочередно то поругивали меня за неспешность, то сочувствовали. В конце концов, меня призвали в маленькую аудиторию, и мои опекуны торжественно открыли довольно большой, но незапечатанный конверт, в котором оценщик велел поторопить меня с превращением диплома в диссертацию, а пока рекомендовал поставить высший балл.

Эти щедрые очки уже давно отхватили и Джурка со своими очерками, и Минибай с анализом деяний крупной дальневосточной газеты, и множество иных моих однокашников, так что ликование осталось умеренным.

Госэкзамены тоже оказались удовольствием прилагательным, но не существительным. Кто станет ставить неуды людям, уходящим на сторону? Какой такой злыдень насолит на прощанье? Да и лето подпирало — всем хотелось в отпуск, преподавателям тоже, и выпуск оборачивался не шумным, не громким и даже не торжественным, но всё-таки подарком судьбы. Украшенной новинкой, по крайней мере, в здешних краях: нам выдали чудесные синие ромбики на пиджаки и платья, на синем фоне — золотой герб державы.

Мы тут же их привинтили, разумеется! А всякий человек с ромбиком был уже очевидным избранником судьбы, потому что в технических, а значит, огромных институтах в тот год никаких ромбиков ещё не давали. Только университетцам!

А вот после ромбиков все заторопились. Ничто никого не держало. Наш курс отказался даже от выпускной выпивки. До сих не понимаю, почему.

Дня в три или в четыре все рассыпались.

Обнялись и мы, небольшая мальчишечья компания со старослужащими Яковым и Игорьком. Старуха Изергиль заболела, когда я зашёл проститься в наш корпус. А тётя Дуся, сказали в столовой, уехала в отпуск. Куда-то на юг. Так всё и закончилось — слишком обыкновенно.

Но мы с Минибаем решили засвидетельствовать свою взрослость. Ему предстояло двинуть в Хабаровск, мне — домой.

Перед тем мы поехали в Москву.

ВЗЯТИЕ МОСКВЫ

Вместо эпилога

1

Что я Гекубе и что мне Гекуба? А в переводе с непонятного, что мы Москве, да и что нам-то Москва? Родина устроила нас на работу, выдала сине дипломы и ромбики, которые, хошь не хошь, выделяли нас в толпе, подтверждая наше личное высшее образование. Однако отправились мы к Гекубе не себя показать, а людей посмотреть. Минибай там так и вовсе не был, а мои воспоминания остались в девятом классе. Тогда страну осенял Сталин, и въезд в столицу ограничивался приглашениями с милицейским штампом и паспортами.

Сейчас мы ехали в совершенно доступную столицу. Дней на пять, чтобы — что?..

Да мы и не думали толком. Просто решили съездить, поглазеть.

Но далее возник спор, так и не разрешённый. В уральской столице газеты печатали объявления про рейсы самолётов, да и цены на них были почти равны железнодорожным. И я завёлся: давай самолётом. Но друг внезапно упёрся: только поездом. В молодые годы люди не спорятся, а остаются при своих мнениях. И я поехал в аэропорт.

2

Сколько ни пыжусь, не могу вспомнить, почём же тогда — летом 1958 года — был билет до Москвы! Вроде бы кому такая мелочь нужна? Да вот оказалось — нужна. Думаю, цена была более чем доступной, если я, ещё студентка, мог себе, не разоряясь, его купить.

В общем, я приехал в аэропорт на рейсовом автобусе с отцовским фанерным чемоданом, вошёл в неказистый зал и подгрёб к кассе. Народу почти не было, самолётами тогда летать ещё не привыкли, ещё не обладал народ такой вредной привычкой, и я стал за дядькой в шляпе, который громко говорил кассирше:

— Но у вас же в руках документ!

— У него истёк срок! — решительно отвечала тётка, довольно-таки молодая.

— Но что же мне делать? — спрашивал он.

— Просто купить билет, товарищ Каганович!

Каганович! Я взглянул на него сбоку, но даже и сбоку было понятно, что это и правда Каганович, Лазарь Моисеевич, соратник Сталина, директор треста, кажется, по добыче асбеста — это такой негорящий материал, добываемый на Урале. Мы читали в газетах, что Кагановича назначили туда. Но вот он стоит перед кассиршей в аэропорту и унижается!

В кассу, довольно просторную комнату за стеклянным перекрытием и с полукруглой дырой для общения, вошёл мужчина, по возрасту схожий с кассиршей, взял у неё из рук мандат с блестящими буквами и, будто продолжая разговор, только вежливее, подтвердил:

— Мы не можем вам выдать депутатский билет, Лазарь Моисеевич. Вы должны понимать. Просто купите, это недорого!

— Но это неправильно! — горячился человек, явление которого здесь совсем недавно могли бы признать чудом. Но теперь он на чудо не походил. Галстук слегка сбился, шляпа мешала ему, и он снял её, обнаружив лысину, покрытую мелкими капельками пота. Принялся промокать голову мятым платком.

— Вы понимаете, — признался он вдруг этим двоим, за окном. — У меня и денег-то нет! Я не рассчитывал на такой поворот! Вы должны мне дать депутатский билет.

— А вы пройдите в депутатский зал, — придумал дядька за стеклом.

— Не пускают! — воскликнул Каганович. — Говорят, не обслуживаем!

Он не жаловался, нет! Он не говорил, кто он такой и как они смеют! Он искренне и как-то по-детски удивлялся. И я подумал, что всё это не похоже на справедливость. Выходит, его выкинули сверху, но лишили права на почтение к нему, запретили даже такое простое: грохнуть кулаком по кассовому прилавку и гаркнуть: “Да я Каганович! Забыли! Моё имя носило метро в Москве! До сих пор ходят пароходы моего имени! Я соратник вождя, в конце-то концов! И отдал стране свою жизнь!”

Ну, а дальше у меня в моих мысленных советах не получалось. И что ему ещё следовало бы гаркнуть? “Дайте бесплатный билет!” Или обернуться к пустому залу и обратиться: “Люди, подайте мне на билет. Я Каганович!”

— Где у вас почта? — спросил вдруг человек, чьё имя носило метро. Кассирша безмолвно протянула руку.

И тут он повернулся ко мне. Коричневого цвета мятый костюм, в руке какой-то бухгалтерский, потрёпанный портфель с двумя застёжками. В другой руке — шляпа. Лысый, круглолицый, с вытаращенными круглыми глазами пожилой человек, не вызывающий симпатий. Но мне его было жалко.

Он смотрел прямо на меня, но не видел, как мне показалось. Он глядел куда-то дальше, и то, что ему там мерещилось, было известно только ему.

Он сделал первый шаг, споткнулся на ровном месте и чуть не упал. Великий человек, которого ещё пять лет назад несли бы на руках по дороге, заваленной цветами, если бы он оказался в этом неказистом аэропорту, смотрел на меня с обидой, которую никто не желал искупать.

— Да это неправильно! Я сейчас позвоню в Москву! — проговорил он.

Я подошёл к окошку, протянул паспорт, назвал город, куда лечу. Кассирша выписала мне билет. И не произнесла ни звука. Дядька за её спиной, как и Каганович, отирал лоб от пота. На земле было жарко.

В самолёте стало прохладнее. Но Кагановича среди пассажиров я не увидел. И это оказалось не единственное приключение моего первого авиаперелёта.

3

Самолёт назывался Ил-14, двухмоторный, наполовину пустой и ничего общего, пожалуй, не имеющий с нынешней авиацией. Всё в нём дребезжало, даже кресло, где я расположился. Летел он надрывно, и я не раз обругал себя, что не поехал поездом. Потом в оконца ударил дождь, тут же превратившийся в ливень. Где-то поблизости прогромыхало пару раз, самолёт падал в ямы, потом, будто сталкиваясь с чем-то твёрдым, стучался днищем и снова взмывал вверх.

Вышла стюардесса и объявила, что в связи с непогодой мы сделаем промежуточную посадку. И назвала мой родной город.

“Ил” не сел, а плюхнулся на грунтовую полосу, во все стороны разлетались брызги, и под воздействием, видно, авиационных винтов земной грязью облепиво самолётные окна, да так, что ничего за стёклами не было видно. Когда они слегка прочистились, я сообразил, что мы сели рядом с авиазаводом, почти в городской черте, а этот несерьёзный аэродромчик содержал на своём краю У-2 — четырёхкрылые самолётики для сельхозобработки полей с воздуха.

У меня созрел план: сбегая в павильончик регистрации — должен же быть там телефон! — и ошарашу маму, как ошарашил когда-то, выписываясь из больницы после воспаления лёгких. Только теперь просто сообщу, что остановился на минутку по дороге в Москву.

Но Господь видит даже наши грешные помыслы. И тут разглядел моё тщеславие. Ливень хлынул с новой силой, и лётчики, заглушив моторы, только по радию и могли сообщаться с аэродромной командой. Слегка приоткрыли дверь, снизу им крикнули, что трап подогнать не могут — непролазная грязь, — и нам советуют, раз не надо дозаправлять горючкой, просто лететь дальше. Ни выйти из самолёта, ни зайти в него оказалось невозможным.

Пассажиры слышали, как пилоты переговариваются с аэропортом, и не только здешним, как все советуют им взлетать, пока не стало хуже, или просто переждать ливень. Странная, однако, логика.

Мы посидели, даже вздремнули. Я очнулся от грохота винта и увидел, что дождь за окном перестал. Даже чуточку солнце выглянуло.

Наш четырёхнадцатый “Ил” гудел исправно, могущественно, самоуверенно. Но вот беда — не мог тронуться. Пилоты форсировали моторы — бесполезно. Колёса самолёта — хотя мы не видели их, — похоже, просели в грязь, и тяга двигателей не помогала. Снова моторы умолкли, опять приоткрыли дверь, снизу кто-то гаркнул, что попробуют пригнать гусеничный трактор. А пока разыскивают трос. Консультировались — за что можно трос этот закрепить к самолёту. В ответ называлось шасси.

Трактор появился нескоро и униЗИтельно для всей гражданской авиации выдёргивал из аэродромных ям самолёт, как какой-нибудь маломощный грузовик, а потому, когда двигатели всё же взвыли, и мы, трясясь по кочкам, пошли на разгон в сторону леса, где располагалось старое городское кладбище, я не на шутку струхнул и сжался, упрощивая все силы небесные подсобить снизу и приподнять наш громко шумящий, но трудно взлетающий самолёт.

И был услышан.

4

Ах, Москва! Ах, Кремль с рубиновыми звёздами! Ах, Большой театр с толстенными колоннами, между которыми назначают встречи люди, не знающие Москвы, но желающие иметь точный и совершенно понятный адрес.

Вот там, между колоннами Большого мы и повстречались с моим другом ещё через день. Он устроился в гостинице “Турист”, а я — у своей московской тётушки. Мы потоптались по площади трёх театров, а потом выбрали к именитой улице Горького, а вот здесь, в перекрестии гостиницы “Москва”, ресторана “Националь” и Госплана, родилось у нас осознание непреложного требования судьбы — наконец-то где-то сесть, пообедать вдвоём, за отсутствием остальных, да слегка обмыть окончание альма матер.

И здесь нельзя не заметить, чуточку отступив, что улица Горького, теперь Тверская, сильно, порой неузнаваемо, отличалась от сегодняшней. Трогуары, закатанные асфальтом, гораздо скромнее, зеркальные витрины отечественного происхождения и не такие сверкающие, ещё отсутствует памятник Юрию Долгорукому, а здание газеты “Труд” вышло на проезжую часть — это гораздо позже его задвинут, чтобы не мешало двигаться. Нет на Пушкинской площади кинотеатра “Россия”, но есть дом Фамусова, который снесут, нет гостиницы “Минск”, которую построят плохо, а потом и её снесут, построят нечто дорогостоящее. Нет ещё ресторана “София” и множества кафе, и торжественных дверей, как теперь... Да я и говорю-то здесь исключительно о правой стороне улицы, по которой мы и отправились в сторону Белорусского вокзала.

Улица Горького, осиянная солнцем, благодушно, как казалось, взирала на нас, её ширина поражала щедростью, летнее тепло расслабляло, освобождая от настороженности. Да и не было нам ещё о чём-то тревожиться

и чего-нибудь опасаться: весь мир этот светлый — с нами, за нас, и мы шагали, никуда не торопясь, а только вдохновляясь своим новым качеством уже полновесных выпускников, хотя ещё и не начавшихся работников. Минует месяц, и нам придётся отвечать за своё дело, как равным и взрослым! Но эта узкая щель — между тем, что было, и тем, что будет, — дула нам в лица тёплым ветерком беспечности.

Так нам казалось.

В пространстве первого квартала нас ничего не остановило. Зато на взгорке в широко распахнутую стеклянную дверь вилась очередь, и мы стали крайними. Регулировал её какой-то добродушный и толстый увалень, похоже, уловивший наши намерения.

— Ждать придётся минут тридцать! — кивнул он нам. — И выпивки тут не дают!

Мы ошалело поглядели на провидца и послушались его. Даже кивнули ему в знак благодарности.

Перед гостиницей “Центральной” имелся ресторан, наверное, его часть, но он оказался закрыт, потому что открывался с двенадцати, а нас угораздило встретиться с ранья. Заглянув в “Елисеевский”, мы торопливо прошли вдоль округленных витрин, испытывая самое серьёзное отвращение, — это не предназначалось нашему, начинающему жизнь сословию. Разве пирамиды “Чатки” напомнили уральскую явь.

Пушкинскую площадь мы не стали обходить по кругу, предполагая, что вряд ли найдётся что-нибудь подходящее для наших поисков, и по простоте душевной двигались всё дальше и дальше, спотыкаясь о пороги редких тогда заведений общепита, переполненных людьми. В конце концов, не для жратвы же трудился Алексей Максимович, которого мы почитали всей душой и имя которого носил университет в столице Урала, который мы закончили.

Двери возникали перед нами. Мы останавливались, примерялись, отказывались, шли дальше.

И так повторялось, повторялось и повторялось до тех пор, пока, уже недалеко от Белорусского вокзала, — во всяком случае, Горький хоть издали, из-за угла, но уже поглядывал на нас, — мы не вошли в почти пустое кафе-мороженое, бухнулись на железные стулья, обитые дерматином, и заказали два мороженых.

Официантка принесла нам блестящие вазочки с разноцветными шариками, и я спросил:

— А выпить у вас что-нибудь есть?

Не отрывая взгляда от наших лиц, бабёнка громко крикнула:

— Рая, что выпить есть?

— Ты же знаешь! — ответила Рая из-за кулис. — У нас не бывает!

— Видите, — ехидно ответила официантка, — не я говорю! А заведующая!

И стала разворачиваться, но я её тормознул:

— А что вот там за бутылка?

И показал пальцем на зады прилавка, где даже издали привлекали своей непривычностью латинские буквы на этикетке.

— Ща узнаю, — ответила она лениво, а потом крикнула из-за тонкой переборки:

— Какой-то ликёр!

— Ну, и дайте его нам, — привязался я на грех нам с Минибаем.

Видно, это было донельзя захудалое заведение даже в системе равенства всенародного общепита. Я потом не раз, вспоминая его, не мог понять, зачем оно существовало на улице-то Горького. Так и не нашёл ответа.

В общем, мы взяли эту таинственную бутылку с непере译имой этикеткой, — на каком же она была наречии-то? — затребовали по стаканчику и, разумеется, ничего, кроме гранёных, явно под водку, сосудов, в кафе-мороженом не нашлось. Ну, и хряпнули по полстаканка, понюхав, естественно, сначала и учуяв, казалось, неядовитый всё же и сладковатый аромат.

Закусывать приходилось мороженым, да это и получалось вполне естественным, и мы слегка повспоминали знаменитый зелёный ликёр “Шартрез”, попробовав который нам удавалось в столовой Горного института.

Конечно, конечно, все эти четыре слова — “Шартрез”, “столовая”, “горного”, да ещё и “института” — никак не сопрягаются в высоких размышлениях о смысле жизни. Но есть же размышления и пониже. Вот почему нас не испугал этот розовый ликёр с неясным именем, мороженое шариками, официантка, в одном лице и вежливая, и подлая, особенно если заметить, что она носит за кулисы продолговатые тарелочки с солёными огурцами и резко пахнущей колбасой.

Ну, ещё мы проявили вольность и к Алексею Максимовичу. Сели к окну, а значит, к нему спиной и забыли о его правдивом реалистическом взоре. Такое не сходит с рук!

Болтая ни о чём — прошлое уже окончилось, новое не началось, — мы с другом допили сладкую и тягучую гадость, не демонстрируя при этом своего истинного отвращения, доели мороженое и рассчитались.

Официантка почему-то отворачивала взор, похоже, думала о чём-то куда более серьёзном, чем наши рублёвки, но на прощанье разомкнулась:

— Заходите, мальчики!

Мальчики выкатились.

И тут он снова посмотрел на нас, почтенный Алексей Максимович. Сбоку, из-за угла. Посмотрел точно так же, как смотрел, когда мы входили в эту кафешку — довольно испытующе. Будто знал про нас что-то, ведомое одному ему.

Надо заметить, что в кафешке мы не допросились никакой воды. Кроме как по стакану из-под крана. А ведь жили в стране равноправных “Боржомы”, “Арзни”, “Поллоостровской” и прочих “Ессентуков”.

Странно, конечно, кафе-мороженое и без воды! И так быть не должно! Не имело права! Но было же...

Итак, мы вышли, и через десять шагов меня замутило. К горлу подступила какая-то гадость из живота. Скривилось и лицо Минибая.

Самое лучшее для нас — извините за прозу правды! — было бы вытошнить, освободить наши чрева. Но где это сделаешь в заасфальтированном со всех сторон сердце столицы? Да ещё на улице Горького! Издалека мы увидели тележку с газировкой и подбежали к ней.

— Без морса! — едва проговорил я.

Жадными глотками мы выпили шипучую воду. Вроде сразу отпустило.

Мы, тем не менее, загнанно оглядывались — ни свернуть, ни уединиться. Ещё недостижимее были туалеты — во все кафе стояли теперь уже длинные очереди, не прорвёшься, а объясняться — ниже не то чтобы достоинство, но и простого смысла.

Не оставалось ничего иного, как прибавить шаг и двигаться обратно. Почему мы так решили? А мы и не решали. Кто-то гнал нас, обратно, но кто-то и помогал, наверное, сам Горький.

На каждом углу данной ему улицы у него стояли тележки с приветливыми тётками — хотите верьте, хотите — нет.

Это были не жеманные девицы и не усталые старухи. Если примерить их к нам, тогдашним, они годились нам в сёстры, но очень старшие, замужние сёстры с детьми, разумеется. Мы подбегали к тележке на каждом очередном углу и просили по стакану газировки без морса. Она стояла десять копеек. Вся трудность состояла в сдаче. Газировщицы честно отсчитывали нам мелочь с рубля, а мы знали, что ресурс заправки водой невелик, и надо успеть добежать до следующего перекрёстка. Но старшие сёстры улыбались нам, старались не обесчиститься, были доброжелательны и заботливы лично к нам!

И всё-таки чистая газировка могла отерочить тошнотворную муть, всякий раз — на краткое время. К концу каждого квартала мерзость из смеси мороженого с чем-то, похожим на ликёр, снова просилась наружу. Мы едва успевали подбегать к тележке, заправиться водой, снизить, видно, концентрацию обмана. И широким шагом, переходящим в лёгкую рысь, двигаться к следующему углу, где — о, чудо улицы Горького! — без обмана функционировала следующая тележка.

Весь мир вокруг нас оказался размазанным и нечётким, как в поезде, пролетающем станцию. Нас больше не интересовали исторические здания, встречные люди и окружающая обстановка. Наши взгляды, пока мы допивали стакан у одной тележки, отыскивали следующую. Всякий раз подсознание или ещё какой-то сложный механизм рассчитывал возможности организма, сопрягая с числом необходимых метров.

Первые десять-пятнадцать шагов после тележки мне, как и Минибаю, похоже, легчало, потом бурление являлось вновь, и движение продолжалось, но куда, до каких пор и к чему мы бежали? Чтобы пристроиться в укромном уголке?

На углу напротив Телеграфа, где теперь парикмахерская “Ив Роше”, мы выпили по предпоследнему стакану. В середине квартала, ведущего к гостинице “Москва”, — последний.

И тут кто-то щёлкнул выключателем. Сказал про себя, а может, и вслух, но неслышимо для нас: “С этих хватит!”

Мы выпили последний стакан, и всё в нас разом утихло. Мир, сорвавшийся с рельсов, вернулся в свою колею. Мы снова разглядели улицу, людей, даже каких-то девушек — надо же, с университетскими значками на платьях! И даже, кажется, улыбнулись им.

Но! Нам не позволялось никаких вольностей!

Организм без всяких переходов потребовал другого. Да и сколько он мог ещё выдерживать это издевательство над ним? Ведь по дороге, совершаемой впробегку, от Белорусской площади до “Москвы”, мы выпили стаканов восемь, а то и девять!

Теперь вода требовала воли! И я крикнул Минибаю, к счастью, обдуманное во время перебежек:

— В “Москву”!

Конечно, я имел в виду её в кавычках, подразумевая гостиницу, и правой рукой уже держал в руке десятку для гостиничного швейцара в ливрее. А вышло по Чехову: “В Москву! В Москву!”

Все завершилось, как по заранее написанному сценарию.

Мы с трудом дождались зелёного света на переходе — о кротовых подземных ходах тогда никто даже не фантазировал! — быстрым, но наглым шагом подошли к мордовороту в ливрее, который охотно принял бумажку, и на мой возглас: “Туалет!” — охотно ткнул пальцем в нужную сторону.

О, Москва! О, улица Горького! О, почтенный Алексей Максимович! Как же легкомысленны были мы, вступая — лишь мимолётно! — на священный асфальт столицы!

Однако и дерзко ответили что-то вроде того: да не очень-то и хотелось!

Правда, этот ответ явился уже после туалета. Или вовсе уж нахальное: держава наша велика!

“Вот-вот, — наверное, ответил бы Алексей Максимович, — не в столицах начинают, в них заканчивают!”

Но и такого не было во лбу — ни у меня, ни у Минибая. Да ни у кого, наверное, из нашего выпуска Уральского университета имени Горького, увы, не существующего более вообще.

И даже самый лёгкий намёк на близость к Москве отвергался кем-то, кто сбредался над нами, владел юмором, поддельным ликёром, газировкой без сиропа, скрытой издёвкой, ну, и всей нашей сутью.

Да что там! Нам просто со смехом указали, что мы здесь чужаки.

Так казалось.

ВРЕМЯ ПРОШЕДШЕЕ (концовка)

Но зачем я всё это написал?

В подробностях, в деталях, которые разрушились, рассыпались, отошли?

Кому это надо — терпеливо узнавать свидетельства забытого времени? Ведь его заслонили новые эпохи, когда иные люди требовали подчиниться другим правилам.

Но я складывал это повествование из светлых надежд, из засохших лепестков памяти, из непониманий и одолений людей, прикоснувшихся к войне своим детством. Ведь даже наши старослужащие не воевали на фронтах, хотя считались участниками войны. Просто такими участниками было всё наше племя, юные годы которого наполнены жаркой надеждой на свободное от беды будущее. Но вот пришло ли оно и обернулось ли исполнением этих надежд — вопрос без односложного ответа.

Жизнь идёт не по нашему сценарию. Хотя она сама-то никогда не согласится, что это не мы выбрали её.

Ушли, уходят, уйдут однокурсники — все мы, не люди, а время!

Без всяких восклицательных знаков, тихо, не привлекая внимания, уходит с нами наша память, а значит, тогдашняя страна!

Даже воспоминания становятся зыбкими, похожими на туман, и бьётся мысль: а было ли всё это?

В этих рисунках по памяти, в свидетельствах забытых пространств, как легко увидеть, нет композиции, много действующих лиц, возникающих и исчезающих безвестно — именно так устроено всё наше существование.

Люди входят в жизнь и выходят из неё без предупреждения.

Мир тает, одни сменяют других, и хорошо, когда в доме хотя бы завляется альбом со старыми фотографиями. И если его кто-то листает, кто-то его хранит, это значит, что прошлое существует, оно только отошло из памяти до поры до времени.

И вовсе не грех, обернуться на повороте. И вспомнить, пока не поздно. Чтобы другие не забыли.